

# Поезд до станции Дно

Роман

ДНО



18+

Анатолий Козлов

Анатолий Козлов

**Поезд до станции Дно**

«ЛитРес: Самиздат»

2017

**Козлов А. ..**

Поезд до станции Дно / А. .. Козлов — «ЛитРес: Самиздат»,  
2017

ISBN 978-5-532-11445-6

Роман «Поезд до станции Дно» ёмкое и хронологически выверенное современное произведение о исторических событиях в России с 1905 по 1920 гг, дающее наибольшую полноту картины и отвечающее на многие спорные вопросы этого периода. Исторический роман «Поезд до станции Дно» освещает самый малоизученный, но самый мифологизированный период истории: события 1904-1905 гг, Первую мировую войну, революции и Гражданскую войну в Сибири под предводительством Верховного правителя России.

ISBN 978-5-532-11445-6

© Козлов А. ..., 2017  
© ЛитРес: Самиздат, 2017

## Содержание

От автора записок	6
Предначало	7
Часть I	14
1	15
2	40
3	63
4	77
5	84
6	90
Конец ознакомительного фрагмента.	94

*«...Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской...*

*...Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения...»*

От Матфея святое благовествование 16 (6,12)

## От автора записок

Я присвоил себе авторство этих рукописей, поскольку являюсь последним соавтором, чья рука прикасалась к ним перед публикацией. К тому же бумаги эти были переданы мне родственником по материнской линии, моим двоюродным дядей. Прочие авторы этих записок так же связаны со мной кровными узами. Я же привёл все записи в порядок и хронологическое соответствие.

Теперь нужно сказать несколько слов о появлении этих записок. Мой дядя – некий Афанасий Романов незадолго до смерти передал мне что-то вроде семейного архива, ссылаясь на то, что начало записей положил ещё его дед Роман Макаров. По молодости лет, разница фамилий деда и внука, мною была оставлена без внимания.

Однако сами записки были весьма интересны, поскольку проливали свет на отечественную историю минувшего XX века, которую ещё только предстоит восстановить, очистив от мифов, домыслов и откровенного вранья, которым грешат практически все «документы» участников той эпохи.

Тем не менее, находя записки крайне отрывочными, написанными разными почерками, к тому же имеющими весьма перепутанную хронологию, я долго не решался издать их в виде книги. А со временем, осознав разницу фамилий прадеда, и его потомков, я и вовсе, было, отказался от этой затеи из-за путаницы в авторстве. Но позже, внимательно вчитываясь в текст, я обнаружил разъяснение данного казуса. Оказалось, что в вихревые революционные годы, фамилию одного из авторов записок, носящего по семейной традиции имя Роман и соответственно отчество Романович, перепутал некий писарь, из чего последовала трансформация отчества в фамилию, а фамилии в отчество. То есть Роман Романович Макаров стал Романом Макаровичем Романовым.

Дядюшка мой – профессор, большой любитель отечественной истории, литературы и крепких напитков – побывал на фронте, был ранен, закончил войну в Берлине в звании старшего лейтенанта. Он передал записки мне – двоюродному племяннику, не доверяя своему родному сыну, который хотя и был весьма образован и даже имел успешную карьеру в строительном деле, но был равнодушен к отечественной истории и считал её чем-то вроде недоразумения.

Моя же заслуга состоит в том, что я разобрал записки, сделал более понятными неясные места (там, где было возможно), дополнил их кое-какими замечаниями и расположил в хронологическом порядке.

А ещё я постарался не делить русских людей на белых и красных. Господи, благослови!

## Предначало

...В лето 965 от Рождества Христова, поздним ненастным вечером, у постоялого двора на дороге, ведущей к городку Франкфурту на реке Майн, остановился странный обоз. Тонкие ноги и короткие морды лошадей, впряженных в скрипучие двухколёсные телеги, выдавали в них степных рысаков, совсем не похожих на здешние породы. Должно быть, великолепные скакуны, резвые под седлом, они вовсе не были приспособлены для такой работы, и теперь имели понурый вид, впалые бока, неровный шаг и даже легкую хромоту у одной из лошадей. Из передней телеги, покрытой сверху, как и две другие, кожами, натянутыми на деревянный каркас, вылез человек в одежде неевропейского покроя, но, судя по дорогим, добротным тканям, богач. Он подошёл к воротам и властно постучал. Тотчас раздался сиплый собачий лай. Подождав немного, человек ещё раз стукнул в ворота, на этот раз посохом. Пёс продолжал надрываться. Спустя некоторое время послышался скрип двери и грубый мужской голос крикнул из-за ворот:

– Кто такие? Бродяги? Убирайтесь! Я не хочу из-за вас иметь дело с епископом!

– Мы просим ночлега...

– Если вы разбойники, я прикажу своим молодцам спустить тетивы арбалетов, учтите: вы все на прицеле!

Путник поднял голову и, оглядев покосившийся частокол, сумрачно усмехнулся:

– Что у тебя грабить-то... Я купец, устал, прошу крова на ночь.

За воротами завозились, открылась потайная дверца, прикрывающая бойницу, и осторожный глаз, показавшийся в прорези, ощупал ночного посетителя с ног до головы.

– Я хорошо заплачу, – сказал гость. – Вот, – он достал из кошелька, висящего на поясе, золотую монету и кинул в бойницу.

Стоящий за воротами поймал её, поднёс к зажжённому факелу, вставленному в стальное гнездо на каменной стене дома, прикусил зубами и быстро спрятав её в карман, бросился открывать ворота.

Войдя во двор, приезжий быстро осмотрелся. Кроме хозяина, одетого в кожаную куртку без рукавов, надевающуюся через голову, полотняные штаны, шерстяные гетры с башмаками и войлочную шляпу, по другую сторону от него стояли два здоровых молодца, по всему видно – сыновья хозяина. Несмотря на молодость, смотрелись они внушительно, только вооружение их выглядело не так грозно. Один был без всяких доспехов, лишь в длинной полотняной рубахе, но с деревянным щитом, обитым стальными полосами, похожим скорее на крышку от погреба, и с большим топором, второй – в ржавой куцей кольчуге с прорезами, надетой поверх белья, с длинной жердью, похожей на оглоблю, но с окованным железом заострённым концом. На голове у него был стальной шишак<sup>1</sup>. Сам хозяин был вооружён самострелом с деревянной дугой – вроде тех, что использовали русы для охоты на мелкую дичь, устанавливая их с растяжкой на звериной тропе. Они стреляли не тяжелыми болтами<sup>2</sup>, как арбалет, а более лёгкими и дешёвыми деревянными стрелами с острым стальным жалом. Приезжий опять криво усмехнулся. Он достал ещё одну монету и сунул хозяину:

– Накорми лошадей и подай ужин...

– И вина с дороги? – предложил хозяин.

Гость поморщился:

– Вина не надо, приготовь три постели.

---

<sup>1</sup> Шишак (вероятно, от венг. sisak) – тип шлема, защитный головной убор, из венгерского или турецкого яз. Здесь – шлем полусферической формы.

<sup>2</sup> болт от англ. bolt, здесь – короткая, тяжёлая стальная стрела для арбалета.

Вслед за ним во двор въехали ещё две телеги. Из одной выскочил очень худой босой оборванный парень, который помог выбраться из другой телеги двум женщинам. Они так закутались в ткани, что их трудно было разглядеть, но по походке и движениям можно было догадаться, что одна из них уже в возрасте, а вторая совсем юная. Оглядев приезжих, хозяин решил уточнить:

– Три? Но вас же четверо...

Купец махнул рукой в сторону слуги:

– Рабу..., – он поймал быстрый насторожённый взгляд хозяина и поправился: – работнику дай чем укрыться, он будет спать с лошадьми, на сене, он так привык – в дороге охранять лошадей...

Войдя в дом, приезжие сели за стол, но так, что женщины оказались отдельно от мужчины. Один из сыновей хозяина вертелся возле очага, разводя огонь. Он медлил. Ему хотелось как следует рассмотреть необычных гостей, и он осторожно косился в их сторону.

– А как же, господин, ваш... слуга? – спросил хозяин. – Он разве не голоден? Мужчина, сидевший сосредоточенно за столом, чуть повернул голову в его сторону:

– Снеси ему что-нибудь..., снеси ему похлебки немного. Он не привык к обильной пище.

– Ханс, – обратился хозяин к сыну, – отнеси это тому человеку, в конюшню, – юноша вышел. – Простите, – снова обратился он к мужчине, – как мне называть вас, господин?

– Зови меня Хирам..., – ответил мужчина.

– Хирам? – переспросил хозяин. – Просто Хирам?

– Хирам-данитянин.

– Простите, господин Хирам, – снова спросил хозяин, – что подавать? Есть свежий копчёный окорок...

– Рыба, – перебил его Хирам, – рыба есть?

– Есть отличный эйшграндский карп!

– Подавай.

Хозяин поставил еду. Приезжие встали, и Хирам начал вполголоса читать молитвы на непонятном языке. Помолившись, они сели за стол, женщины размотали покрывала, чтобы было удобнее есть. При тусклом свете свечей стали видны их лица. Лицо немолодой женщины поражаало своей странностью: его никак нельзя было назвать красивым, однако на нём, словно маска, запечатлелось высокомерие, чуть искажавшееся усталостью и тревогой. Лицо же юной гостьи было редчайшей нездешней красоты: большие серые, со жгучим всепроникающим взглядом глаза, чёрные тонкие брови, тонкий с горбинкой нос, чувственные припухлые губы. От неё невозможно было оторвать взгляд. Черты её лица не были правильными в принятом смысле, но оно светилось потаённой чувственной силой. Взглянув на него, хозяин отшатнулся.

В это время вернулся сын хозяина. Он тоже увидел лицо юной гостьи и замер, потеряв дар речи. Он откровенно уставился на неё, не в силах справиться с собой. Хирам недовольно покосился. Заметив это, хозяин постарался удалить юношу:

– Принеси ещё дров, Ханс, – да не стой и не пялься на гостей, словно никогда не видел людей, не то они подавятся куском, – и чтобы исправить неловкое положение спросил: – Откуда вы прибыли, господин Хирам? По одежде вы похожи на хазарских купцов...

Хирам странно дёрнулся и перестал жевать, словно раздумывая, отвечать ли на этот вопрос. Но видно, решил, что можно.

– А здесь часто бывают купцы из Хазарии?

– Здесь проходят торговые пути в Хазарию, – простодушно ответил хозяин. – Хазарских купцов много во Франкфурте, а в Майнце есть целая община...

– Да, – ответил Хирам, мы из..., – он чуть помедлил, – из Итиля!



– Из самого Итиля? – уточнил хозяин. – Из столицы на реке Итиль<sup>3</sup>

– Да, там очень большая и широкая река Итиль... Вот что, – обратился к хозяину Хирам, насытившись. – Как тебя?

– Петер, господин Хирам.

– Вот что, Петер. Завтра с утра найди мне покупателей на лошадей и повозки – я хочу всё это продать.

– Как? – удивился Петер, – Вы разве дальше не поедете?

Хирам помедлил с ответом, видимо недовольный, что приходится объяснять.

– Я решил остаться здесь, в городе...

– А разве вам не нужны будут лошади, повозки? В хозяйстве всё это пригодится.

– Мне это не нужно, – он не хотел пускаться в объяснения, что не желает привлекать к себе внимание.

– На первых порах вы могли бы этим зарабатывать, – возразил Петер.

Хирам усмехнулся в густую чёрную бороду.

– Поверь, есть другие способы делать деньги. – Слово *делать* в отношении денег было для Петера непривычно, и он, замолчав, продолжал слушать. – И достань мне одежду. Такую, какую носят здешние горожане, я не хочу выделяться.

– Но у нас тут много приезжих отовсюду, – хотел успокоить его Петер, но Хирам перебил его:

– Я заплачу тебе за всё...

Пожинав, гости ушли в отведённую им комнату и заперлись изнутри. Через несколько минут, сняв обувь, Петер подкрался к двери их комнаты и приложил ухо – оттуда слышалось бормотание. Хирам читал молитвы. Петер вернулся в зал, который был одновременно и местом ожидания, и столовой, а вечером превращался в пивную. Он нацедил в кружку яблочного вина из бочонка и, сев к столу, стал неторопливо и задумчиво потягивать сидр. Спустя ещё немного времени он снова прокрался к комнате гостей и удостоверился, что те спят. Тогда он разбудил Ханса, велел ему взять оружие и следовать за ним. Вооружившись топором и кухонным тесаком для разделки мяса, они прошли к конюшне – где спал слуга Хирама.

– Этот Хирам очень подозрительный, – сказал Петер Хансу, – Я хочу допросить его слугу на всякий случай. Мы попугаем его вот этим, и он всё расскажет.

– Мы не станем его убивать? – обеспокоенно спросил Ханс.

– Пока в этом нет надобности...

Они старались красться осторожно, и всё же наделали шуму, к тому же освещали дорогу факелом. Но слуга проснулся лишь, когда они вплотную подошли к нему. Он страшно испугался, увидев вооружённых людей, замахал руками и что-то залопотал. Петер немного знал этот язык.

– Ты рус? – спросил он слугу.

– Да, я русской земли, – закивал слуга.

– Говори медленнее, – приказал ему Петер, – чтобы я мог разобрать, что ты лепечешь.

– Не убивайте меня, – попросил слуга. – Я христианин, – он бил себя кулаком в грудь. – Вот, – он полез под одежду и вынул висящий на шнурке крест.

Петер с Хансом переглянулись.

– Хорошо, – сказал Петер. – Но почему ты с ними? – он махнул головой в сторону дома.

– Я пленник, – пояснил слуга, – я был взят в плен во время набега, совсем недавно. Мой хозяин не знает, что я христианин, иначе он убил бы меня.

– Почему?

– Он ненавидит христиан...

---

<sup>3</sup> Древнее название Волги

– Кто он? Он сказал, что из Хазарии, из города Итиль.

– Да, это правда.

– Но почему он так странно ведёт себя?

– Он бежал...

– Бежал? – удивился Петер, – из Итиля?

Как ни напуган и измождён был слуга, но он не смог сдержать улыбки:

– Итиля больше нет!

– Как нет?

– И Хазарии нет.

– Куда же они подевались?

– Князь русов Святослав Хоробрый сын Ингварев разбил войска хазар. Он взял их столицу Итиль и разрушил её. Больше нет логова сатаны!

– Но как же твой хозяин? Почему ему удалось бежать?

– Потому что он, – тут слуга перекрестился, – потому что он сам дьявол!

Петер и Ханс тоже перекрестились.

– Почему он сбежал именно сюда?

– Потому что персы зажарили бы его, как барана, а аланы сняли бы с него шкуру живьём.

– А ты почему не бежишь от него?

– У меня совсем нет сил, – жалобно сказал слуга, понурив голову. – Хозяин меня почти не кормил. И я не знаю, куда идти... Я умру в дороге без одежды и пищи.

Петер повернулся к Хансу и что-то стал тихо говорить ему, изредка показывая на слугу. Ханс куда-то ушёл.

– С рабом-христианином нам будет много возни и неприятностей, – снова обратился Петер к слуге. – Я дам тебе еды на первое время, одежду и нож. В лесу срежешь сук – сделаешь лук – для того, чтобы подстрелить лесного голубя, зайца или рыбу на мелководье – этого хватит. Будешь идти на восход солнца – не промахнёшься, так чтобы закат был всё время у тебя за спиной.

В это время пришёл Ханс. Он принёс узелок с едой, старые разбитые сапоги, холщовую куртку и длинный старый нож со сточенным, но острым лезвием.

– Здесь вместе с харчами уложено несколько сухих воловьих жил, – пояснил Петер, – сделаешь тетиву. Сейчас я проведу тебя через задний двор, дальше пойдёшь через сенокос. Выйдешь за ограду, спустишься в овраг. По нему дойдёшь до леса, там заночуешь...

Утром Хирам вышел из комнаты и столкнулся с Хансом, словно тот поджидал его. Увидев его, Ханс странно улыбнулся и быстро и взволнованно заговорил:

– Отец чуть свет ушёл искать для вас покупателей. Они, должно быть, уже скоро придут...

Хирам подозрительно посмотрел на него и сразу же направился к конюшне. Ханс пошёл было за ним, но увидев, куда тот идёт, отстал. Не успел Хирам войти в конюшню, как раздался его голос, до того взволнованный, словно случилось самое великое горе, какое только можно представить:

– Где мой раб?!

– Не знаю, – отозвался Ханс. – Вчера я относил ему еду и больше не видел...

– Лошади все на месте? – сурово осведомился Хирам, выходя из конюшни. Хотя и сам мог всё прекрасно видеть.

– Все, – поспешил заверить его Ханс. – На месте, накормлены.

– Не поил? – Спросил Хирам уже другим голосом, словно совсем забыл о слуге.

– Нет, – ответил Ханс.

– Не пои. Напоишь побольше перед тем, как вывести к продавцам, – приказал Хирам и ушёл в дом с таким видом, будто ничего не произошло. Больше он о слуге не спрашивал.

Войдя в дом и сев за стол, он спросил молока и хлеба у хлопотавшей возле очага хозяйки, одетой в удобное свободное платье с широкими рукавами, такими просторными, что когда она тянулась, чтобы снять с верхней полки горшок с крупой, мукой или кувшин с маслом, то её полные белые, словно мрамор, руки открывались до самых плеч.

Хирам стал завтракать. В это время в зал выбежал младший сын Петера, мальчик лет семи. Увидев странного, незнакомца, он смутился. Хирам взглянул на него и неожиданно улыбнулся. Мальчик осмелел и, как все дети в присутствии новых людей, стал показывать, на что он способен. Он перекувырнулся пару раз через голову, запрыгнул на лавку, прошёлся по ней, спрыгнул. Всё это сопровождалось одобрительными улыбками Хирама. Тогда, чтобы совсем поразить незнакомца, мальчик сбегал во двор и вернулся с деревянными мечом и щитом.

– О, – воскликнул Хирам, – да ты воин!

– Я так..., – ответил мальчик, – играю.

– А хочешь, – предложил ему Хирам, – я сделаю тебя полководцем, прямо сейчас? – мальчик недоверчиво посмотрел на него.

– Как это?

– А вот как, – сказал Хирам, – принеси с улицы вот такой комок глины, – он показал, сомкнув ладони, сколько надо принести глины.

– Глины? – удивлённо переспросил мальчик.

– Да, глины, только не размокшей от вчерашнего дождя, бери посуше, ту, что под ней.

Пока мальчик бегал за глиной, Хирам купил у хозяйки большую свечу и растопил её у очага в глиняной плошке.

– Вот, – сказал он, когда мальчик принёс глину, – здесь я растопил свечу. Теперь мы разомнём глину в пальцах и смешаем со свечой. Так глина не будет рассыпаться, и из неё можно что-нибудь лепить.

– А что мы будем лепить? – поинтересовался мальчик.

– Прежде всего, скажи, как тебя зовут?

– Конрад.

– Конрад? Прекрасное имя. Так вот, Конрад, я обещал сделать тебя полководцем. Полководец Конрад! Мы будем лепить армию для полководца Конрада! Вот смотри, – он отщипнул немного глины, смешанной с воском и быстро вылепил из неё четырёхконечную фигурку и, скатав из небольшого кусочка шарик, приделал сверху. Фигурка стала похожа на человечка. – Вот, это воин, а чем мы вооружим его?

– Мечом, – предложил Конрад.

– Отлично, – Хирам отломил кончик тонкой хворостинки и приделал её к «руке» человечка. – А вот ещё один воин, чем мы этого вооружим?

– Луком, – снова посоветовал Конрад.

Хирам опять отломил кусочек хворостинки и вырвал из своей длинной бороды волосину. Он привязал один конец волосинки к кончику хворостинки и затем, согнув её пальцами, натянул «тетиву». Получился лук.

– Мы поставим воинов друг против друга, и они начнут битву, – сказал Хирам, устанавливая на столе фигурки воинов.

– Я знаю, – воскликнул Конрад, – победит лучник. Он пустит стрелу и убьёт того с мечом.

– Должно быть, так.

– И битва закончится, – печально заключил Конрад.

– А мы сделаем копейщика со щитом, – успокоил его Хирам и тут же слепил ещё одного воина со щитом и приделал ему копьё.

– Вот – копейщик щитом отразит стрелу и бросит копьё в лучника.

– Но битва опять закончится, – уже совсем грустно сказал Конрад.

– Да нет же, – с непонятным азартом замахал руками Хирам.

– Рядом с лучником мы поставим воина с двуручным мечом – вот. И он поразит копейщика и так дальше, эта игра не кончается.

– А кто же из воинов победит? – спросил удивлённый Конрад.

Хирам хищно ухмыльнулся:

– В войне побеждают не воины.

– А кто? – ещё больше удивился мальчик.

– В войне побеждает тот, кто её организует, – сказал Хирам и потрепал мальчика по головке. – Эту войну организовал ты, значит ты выиграл, – с этими словами Хирам полез в карман и, достав мелкую серебряную монетку, протянул Конраду, – вот твой барыш, – пошутил он.

Вошёл Петер.

– Конрад, – окликнул он мальчика, – уйди, не надоедай гостю! – Конрад побежал к матери показывать монетку. – Я привёл покупателей, господин Хирам.

Хирам стал серьёзен. Он поднялся из-за стола, и они вышли. Несмотря на то, что всё следовало делать быстро, Хирам не торопился отдавать имущество за бесценнок. Он долго торговался, выпрашивая настоящую цену, однако следил, чтобы покупатели не передумали из-за дороговизны товара. Но кони действительно были отличные, по крайней мере, могли дать великолепное потомство. И покупатели не собирались отступаться, но и не желали переплачивать.

Видя, что все заняты, Ханс вошёл в дом. Он налил в кувшин немного молока и, взяв небольшой хлебец, осторожно надрезал его сбоку. Затем он быстро достал записку, заранее написанную на клочке пергамента: «Мне нужно с вами поговорить. Возможно, речь идёт о жизни вашей семьи. Выйдите к колодцу за водой». Тем же ножом он засунул записку в хлебец.

– Конрад! – позвал он брата. – Вот, – сказал Ханс, когда Конрад прибежал к нему, – отнеси это нашим гостям. Они вон там. Молоко дай той, что постарше, а хлебец отдай девушке.

Через некоторое время к колодцу во дворе подошла девушка с кувшином. Гулявший неподалёку Ханс поспешил помочь ей управиться с тяжёлой дубовой бадьёй.

– Как вас зовут? – не поворачивая головы, спросил он. Она насторожённо взглянула на него. Не получив ответа, он продолжал: – Дайте мне слово, что, если я помогу вам добраться до города, вы пришлёте мне весть о себе.

– Вы только за этим меня звали? – надменно ответила гостья.

– Зря торгуетесь, – осадил её Ханс, – у нас нет времени, а положение серьёзное. Я всего лишь хочу знать, где вас потом найти.

– Хорошо, – согласилась девушка, – я вам обязательно пришлю известие о себе.

– Слушайте, – зашептал Ханс, – Это мы – дали вашему слуге возможность бежать. Не перебивайте! Но мне кажется, что мой отец замышляет что-то против вас.

Девушка глубоко вздохнула:

– Это так не ново...

– Слушайте, – продолжал Ханс. – Ваш отец и вы должны будете переодеться. Вы сделайте это как можно скорее, а отец ваш пусть ходит так до последней минуты. Затем и он пойдёт переодеваться. Там, в вашей комнате, на стене висит медвежья шкура. За ней тайный ход в подвал. Вы спуститесь туда и пойдёте по нему до конца. Там будут ещё два выхода – один во двор, широкий – через него спускают бочки, другой – в самом конце. Дойдёте до него. Он выходит к самому лесу. Там увидите узкую тропинку и бегите по ней. Она выведет вас на дорогу к городу. От нашего дома эта дорога делает большой крюк, а вы пойдёте напрямик.

Тут их заметил Хирам.

– Рахель! – крикнул он девушке. – А ну, живо в дом, я же приказывал не выходить!

Девушка схватила наполненный кувшин и заспешила в дом.

– Не забудьте захватить свечу и огня, – успел шепнуть ей напоследок Ханс.

Далеко за полдень, наконец, сделки состоялись. Один покупатель купил кобылу, жеребца и телегу. Другой – кобылу с телегой. Оставшуюся телегу купил Петер. Хирам сильно уступил ему, поскольку хотел избавиться от телеги.

Хирам сходил в дом, отнёс деньги, попрощался с Петером и сказал, что им пора. Как только он переоденется, они тут же тронутся в путь.

Петер немедленно подозвал Ханса:

– Зови своего брата Манфреда, берите оружие и бегите по этой дороге. Я буду ждать вас за поворотом. И быстрее – нам надо опередить их.

Предположения Ханса оказались точны. Петер устроил на Хирама и его семейство засаду за поворотом дороги. Однако даже с этого места не было видно, где тайная тропка, идущая через лес от их дома, выходила к дороге. Беглецам сопутствовала удача.

– Отец, – спросил Петера старший сын Манфред, – ты хочешь их убить?

– Вообще-то меня интересует содержимое их кошелька. Думаю, – они будут благодарны, – впрочем, самого Хирама мне отпускать не хочется. Это небезопасно... А женщин можно будет продать проезжим купцам, во всяком случае, ту, что помоложе.

Они пролежали в придорожных кустах почти час. Петер уже начал нервничать, когда на дороге раздался топот ног. Из-за поворота показался бегущий Конрад. Когда он поравнялся с ними, Петер окликнул его:

– Эй, Конрад, ты чего здесь?

– Они ушли, – громко сказал Конрад.

Петер сразу всё понял и вскочил на ноги.

– Как ушли?

– Не знаю, – пожал плечами мальчик. – Только комната пуста, а на полу валяются их одежды.

Петер в сердцах с размаху всадил топор в землю.

– Видно, он действительно дьявол – этот Хирам!

## Часть I

### Меж двух огней

*Дайте власть главе христианской церкви в России – императору, – и он одним мановением руки, точно отгоняя мошкар, пошлет несчетное множество молодых мужчин, матерей с младенцами на руках, седовласых старцев и юных девушек в невообразимый ад своей Сибири, а сам преспокойно отправится завтракать, даже не ощутив, какое варварство только что совершил.*

Марк Твен<sup>4</sup> «„Рыцари труда“ – новая династия» 22 марта 1886 г.

---

<sup>4</sup> Настоящее имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс (1835-1910) – американский писатель.

# 1

Младший унтер-офицер 1-го Сибирского полка Макаров получил серьёзные ранения в штыковой атаке под Ляояном – в Маньчжурии.

Роман Макаров – уроженец одноименного поселения в устье реки Тары, притока Иртыша, Омского уезда Акмолинской области. Стройный, высокий – почти в сажень ростом – без трех вершков, худощавый, но жилистый – в таких людях жизненная сила угадывается в стремительных, спорых движениях, раненный пулей навывлет в плечо, унтер Макаров не покинул строй и, продолжая наступать, заколол штыком двух японцев. Одного – коротким выпадом вперёд на бегу, только ткнув под рёбра штыком и сразу же дёрнув винтовку назад, пока тело убитого не обмякло и не утянуло оружие вниз. Другого – маленького роста – пытавшегося достать Макарова снизу штыком в живот. Макаров ловко сбил вниз оружие японца, но, вонзая острие своего штыка в шею врага, почувствовал злую, жгучую боль в ноге. Японец успел достать его и распорол унтеру левое бедро штык-ножом...

Ранним августовским утром 1904 года японцы начали артобстрел Маньчжурской армии, отошедшей без всякого одобрения солдат и офицеров на второй оборонительный рубеж. Морально войска были готовы не только стоять насмерть, не только контратаковать, но и перейти в наступление...

На рассвете подпоручик Глеб Верховинский прощался со своей невестой, медсестрой Шурочкой Кареевой – дочерью чиновника на транссибирской железной дороге, когда в воздухе послышался шелест летящих снарядов, и взрывы от них подняли комья земли и столбы пыли на позициях русской пехоты, находившихся в полутора километрах от палаток полевого лазарета. Захлопали шрапнельные патроны, с визгом разгоняя во все стороны стальные шары смертоносного билльярда...

У подпоручика Верховинского, прибывшего на фронт сразу после окончания в Санкт-Петербурге Владимирского пехотного училища на Большой Гребёцкой улице, Шурочка была первой барышней, с которой отношения перешли от почтительного целования ручек до страстных поцелуев и объятий, и даже до предложения руки и сердца. Буквально два дня назад прибывший в распоряжение войск по делам службы отец Шурочки Петр Кареев – потомок столбовых дворян, дела которых дошли до такой степени крайности, что в наследство Кареев получил в основном долговые расписки и векселя, благословил дочь.

Любовная история подпоручика, за неимением на фронте более достойных тем, стала предметом наблюдения и острот для господ офицеров. Все сходились в одном: мальчишка, вырвавшийся на волю, оказался в цепких лапках шустрой, хотя и молоденькой, но первой попавшейся особы женского пола.

– Что вы, подпоручик, как с цепи сорвались, – говорили Верховинскому бывалые офицеры. – Женщин в Петербурге не видели? Петербург! Балы, Невское дефиле, Летний сад. Курсисточки-гимназисточки по юнкерам ведут беглую стрельбу глазками, что твои трёхдоймовки!

– Так ведь Шурочка – не все, она прелесть, господа! – убеждал всех Верховинский.

– Так уж сразу..., особенная она, что ли, какая?

– Вот именно, господа, особенная!

– И мы когда-нибудь влюблялись, были, так сказать, под впечатлением... Все ведь *они* поначалу кажутся творениями небесными. Только, скажите на милость, куда вся эта божественность потом девается, где эти нежные ангелочки? Не на небо же они улетаются?

– И всё-таки Шурочка – лучше всех, она совершенство! – не сдавался подпоручик.

Впрочем, наружность и манеры Шурочки Кареевой у многих молодых и даже опытных господ офицеров вызвали уважение. Хотя некоторые, то ли от дурного характера, то ли из мужской зависти, то ли просто уж от привычки всему завидовать позволяли себе шутить зло.

Так, штабс-капитан Марусин при случае чуть было не получил от подпоручика по сусалам за попытку критики внешности Шурочки:

– И как вы, подпоручик, можете любить женщину с такими воловьими глазами? – сказал, перетасовывая колоду карт, Марусин Верховинскому, вернушемуся с очередного мимолётного свидания.

Верховинского удержал его боевой товарищ – подпоручик артиллерии Лёша Гришин.

– Бросьте, Верховинский, – уговаривал Гришин, удерживая друга. – Не ходить же вам век в подпоручиках, а то и в рядовых...

– А вы, мечтаете стать полковником? – с лёгким сарказмом спросил в ответ Верховинский.

– Собственно, как повезёт...

Тогда Алексею Гришину и в голову не могло прийти, что через четырнадцать лет он станет даже не полковником, а генерал-майором Гришиным-Алмазовым – командующим Сибирской армией, сформированной в Омске. Той самой армией, которую вскоре возглавит Верховный правитель России адмирал Колчак...

Марусин, однако, получил ни много ни мало – вызов на дуэль. Штабс-капитан вызов принял, но предложил отложить поединок, предоставив решить спор року, то есть японской пуле, штыку или осколку снаряда. В случае же окончания боевых действий и при наличии и боеспособности соперников, дуэль должна была состояться.

Эта ночь накануне сражения была счастливейшей в жизни подпоручика. Им с Шурочкой удалось наконец-то уединиться, пробравшись в палатку с перевязочными материалами, возле которой не было часового, и здесь после страстных уговоров, неистовых объятий и обжигающих, пахнущих цветущей молодостью и губной помадой поцелуев, Шурочка Кареева стала неформальной женой Глеба Верховинского...

Рассвет ещё только угадывался. До наступления зноя на короткое время сопки словно ожили. Пробежал первый утренний ветерок, освежая воздух, изредка кое-где вспархивали птицы. В звонкой тишине слышен был шорох травинок.

– Осенью мы обвенчаемся, – говорил Верховинский Шурочке, собираясь уходить и нежно целуя на прощанье её припухшие губки.

– Но вы..., ты же ещё не получил благословения от матушки..., – осторожно напомнила Шурочка.

– Я уже отправил мамёнке письмо в Петербург, думаю, ждать ответа недели две – три...

– Люблю, люблю тебя, – только и успела сказать Шурочка, прижимаясь к нему всем телом и глядя на подпоручика жгучими карими глазами, когда раздались далёкие хлопки, и через несколько секунд первые снаряды разорвались на русских позициях, засыпая окопы серой пылью и комьями земли.

Подпоручик решительно, но бережно, отстранил медсестру Шурочку и, придерживая фуражку, пригибаясь и делая зигзаги, побежал к окопам...

К тому времени русская артиллерия уже имела изрядный опыт современной войны. Наши батареи больше не располагались на склонах гор – на открытых, удобных для обстрела противником позициях. Теперь огонь велся из-за укрытий – из-за сопки, из низинок, так что противник визуально не мог сразу определить точное расположение огневых точек. Этот опыт пришел не сразу – ценой больших потерь и досадных поражений. Но к разгару боев под Ляояном русская артиллерия представляла большую угрозу для японцев.

Вот и на этот раз – не успели японцы открыть огонь, как ответила русская батарея. После нескольких пристрелочных выстрелов наши взяли японцев в «вилку» и быстро вынудили прекратить огонь.

Подпоручик уже подбегал к окопам своей роты, когда один из последних снарядов, выпущенных японцами, лёг ему под ноги...



За мгновение до этого младший унтер-офицер Макаров зачем-то выглянул из окопа и успел увидеть бегущего подпоручика и даже подумать: «От Шурочки бежит, вот чумовой...», – и тут на его глазах взрыв снаряда скрыл Верховинского. Когда после разрыва фугаса осела земля и развеялся дым, на этом месте виднелась лишь безобразная обгоревшая воронка...

И тут же перед русскими окопами возникла подобравшаяся под огнем японская пехота. Работать по ним артиллерией было слишком поздно. Да и русские солдаты, неудержимо рвавшиеся в бой, словно пытаясь в очередной раз доказать свою готовность одолеть врага, дружно пошли в контратаку.

Вторая рота осталась без командира. Быстро оценив обстановку, Макаров принял решение:

– Вторая рота, примкнуть штыки! – рявкнул он командирским голосом, – В а-атаку-у, впе-е-ерё-ёд! – и первым взлетев из окопа, свирепо зарычал во всю глотку: У-р-р-ра-а-а! – И помчался вперёд большими скачками, не оглядываясь и не смотря по сторонам, только чувствуя, как затряслась за его спиной земля от топота солдатских сапог...

В числе других раненых героев, минуя Омск, унтер Макаров был доставлен, к некоторому своему неудовольствию, на лечение в столицу, в эвакогоспиталь общины сестер милосердия барона М. П. фон Кауфмана на Фонтанке. В столичной Военно-медицинской академии бунтовали студенты, и она даже была вынуждена на время прекратить занятия и приём больных. В тылу страсти бушевали не меньше, чем на фронте, и имели последствия не менее, а то и более серьёзные, чем отступления под Ляояном и Мукденом.

Но делать нечего, приходилось принимать с благодарностью милость российского Государя-императора. Уже позже, лежа в госпитале, Макаров прочел в газетах, что в честь оставшихся в живых моряков с крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», героически сражавшихся в корейской бухте Чемульпо с целой японской эскадрой, сам император Николай II дал обед в Зимнем дворце, и каждому члену экипажа погибших, но не сдавшихся врагу кораблей, был подарен столовый сервиз с георгиевским крестом на каждом предмете.

Роман Макаров раньше в столице не бывал, и теперь, выписавшись из госпиталя, с интересом ковылял по вымощенному камнем Невскому проспекту, прихрамывая и помогая себе деревянным костыликом, невольно оберегая раненое плечо.

Все здесь было для него в диковинку. До этого Омск, в котором он бывал несколько раз перед войной, казался ему огромным городом с величественным Свято-Успенским собором в центре, войсковым казачьим училищем и кадетским корпусом.

С Омского кадетского корпуса начиналась карьера многих видных офицеров и военачальников. Некоторые из них отличились и в русско-японской кампании: бывший кадет Омского корпуса Лавр Корнилов, ставший уже подполковником, вывел из безнадёжного, казалось, окружения бригаду с ранеными, соблюдая полный боевой порядок, сохранив знамёна и прорвав кольцо японцев мощной штыковой атакой. За что был награждён орденом Святого Георгия, георгиевским оружием и произведён в чин полковника. Макаров мельком видел Корнилова перед отправкой в госпиталь. Тот обходил раненых сибиряков, справлялся о состоянии здоровья, выслушивал просьбы. Узнав, что унтер Макаров из-под Омска, он улыбнулся и сказал: «Земляк! Молодец, не подвёл!» – и, крепко пожав руку, двинулся дальше, маленький, сухонький, но весь пружинистый, крепкий, стремительный. За таким солдаты шли не задумываясь, знали, чувствовали – не подведёт.

Второй выпускник Омского кадетского корпуса, уроженец Омска – ныне поручик саперного батальона, герой боёв под Мукденом – Дмитрий Карбышев. Но о Карбышеве Макаров ещё почти ничего не знал, так – фамилия в списках отличившихся...

Омская земля – один из центров сибирского казачьего войска. В Свято-Никольском казачьем соборе Омска хранилось знамя дружины Ермака. «Белокаменная» омская церковь во имя Животворящего Креста Господня казалась тогда Макарову громадной. Храмы эти были в

действительности огромными, в духе тех, что строились по всей России в конце XIX – начале XX веков, но с особенностями специально созданного сибирского стиля. Теперь же ему, пораженному великолепию и богатством петербургской архитектуры, на первых порах пришло на ум, что Омск – просто маленький острожный городишко, весьма грязный, а в летнюю жаркую пору пыльный – каким описал его узник омского острога Фёдор Достоевский, назвав к тому же ещё и в высшей степени развратным. Но кому место каторги покажется раем? Городок с одной главной улицей с каменными домами вдоль Иртыша. Все остальное застроено деревянными, большей частью схожими с деревенскими избами. Лишь в центре стояло несколько деревянных зданий, изящно украшенных деревянной ажурной резьбой. Но и они по сравнению с Петербургом тоже казались теперь избами. Впрочем, унтер Макаров давно не бывал на родине – больше года, много времени проведя в диких местах Маньчжурии и Китая, и теперь находился под впечатлением от российской столицы. Он как само собой разумеющееся, не брал во внимание более двух десятков омских церквей и соборов, каменными громадами возвышающихся над низкорослым деревянным городом. Да и к тому времени Омск, о чём он не знал, уже значительно преобразился – мостовые выстланы уральским камнем, начиналось строительство различных учреждений, новой гостиницы. Завершалось строительство Омского театра. Вот уже два года Омск гордился своим инженерным чудом – настоящим разводным мостом. Не таким, конечно, огромным, как в Петербурге, потому что возведён он был на неширокой Оми, ласково называемой жителями Омкой. Но, в общем, мост был настоящий, стальной, к тому же неподъёмный, как в Петербурге, а поворотный – под 90<sup>0</sup>. Омск все отчетливее приобретал вид городской, цивилизованный и все больше претендовал на столичное звание, оспаривая его у ряда сибирских городов, таких, как древний Тобольск, Иркутск, Ново-Николаевск. Не знал всего этого Макаров, ковляющий нынче по Невскому проспекту.

Впрочем, Петербург не столько поразил Романа Макарова, сколько сильно озадачил. Ещё находясь в госпитале, выходя на прогулку, принимая делегации благотворителей-попечителей, Макаров отметил непохожесть столичных жителей на тех, которых он привык видеть у себя дома. Женщины, за исключением представительниц церковных общин, были одеты в какие-то необычные платья, всё более в обтяжку, по фигуре, с непривычно открытыми плечами, длинных волос нет, всё какие-то кудряшки. «Как они их делают? – недоумевал Макаров, – сколь времени-то надо, чтоб наvertеть такое?». Где ему было знать, что это модная причёска «перманент», изобретённая в прошлом году одним немцем<sup>5</sup>

Мужчины в кургузах, на его взгляд, костюмчиках, какие-то узенькие брючки, причёсочки гладенькие – всё, в общем, с каким-то форсом. У сибиряка, выросшего в простом быту с хозяйственным укладом и суровых условиях, где мерилком комфорта служили прочность, надежность и долговечность, вычурность Петербурга вызывала не столько восхищение, сколько недоумение, а позже и неудовольствие. А когда на фасаде одного из зданий он увидел лепные полуобнаженные женские фигуры, Макаров и вовсе смутился и растерялся. Уж как-то не вязались они с представлениями народного ума о православной столице, с образом Царя-батюшки, с парящими в синей вышине, золотыми крестами и куполами соборов – с детства засевшие в сознании картинки с коробок и открыток виды златоглавого Московского Кремля. В его понимании культура – слово, которое встречалось порой в газетах, и образование сочетались почему-то с верхом чистоты, скромности, целомудрия и, может быть, даже аскетизма, которыми если и не обладали в полной мере сибиряки, но в высшей степени ценили, несмотря на жизнь вольную и богатую по сравнению с центральной Россией. Даже монастырские насельники не попадали, по их мнению, в категорию людей культурных и образованных, если не обладали строгостью, чистоплотностью и скромностью чрезвычайными. Вот как батюшка Иоанн Кронштадтский – человек действительно ученый и мудрый, с лицом строгим, но ясным и свет-

<sup>5</sup> Карл Неслер изобрёл в 1904 году долгосрочную причёску.

лым. Его Макаров знал пока только по рассказам и по фотографии, но из дому ему писали, что отче Иоанн был недавно в Омске и освящал церковь в Ачаирском женском монастыре. И жена Макарова Устинья тоже сподобилась увидеть отца Иоанна. Ездил почитай вёрст за триста, две недели в дороге провела, сыночка их Романа с бабкой оставляла скрепя сердце, чтоб только благословиться у петербургского батюшки. А вот теперь и сам Макаров ходит с ним по одной земле, в городе Петра Великого, приказавшего основать, кроме Петербурга и других городов, и город Омск.

Тут же, сейчас, во всем чувствовалось небывалое, как бы выразиться точнее... – легкомыслие что ли? Ну, да! Легкомыслие. И не то, что приходит от легкого и светлого состояния души, когда точно знаешь, что жизнь – это подарок Божий. А легкость мысли именно от недомыслия, непонимания, что жизнь – это крест, несомый человеком на суд. Вот и публика разодета так, как он не видывал раньше и в большие праздники. Так, что не отличишь сразу, с первого взгляда, где господа, а где лакеи. Пальтишечки не нашего покрою – не свободные да практичные – для тепла, а всё в обтяжку, узко, и ткани непростые – тонкой нити, лоснятся, должно быть, высшесортного китайского кашемира, заграничные, видать. Платков, шапок не видно – всё шляпки, шарфики лёгкие, шляпы, перчаточки, и всё как с чужого плеча – фасонистое, но вроде как не своё, будто малое, всё еле держится, всё лёгонькое, несмотря на погоду. В эдаком не то что ходить, дышать непонятно как... Нет в одежде той практичности и носкости, к которой он привык – сапоги, скажем, из плотной, но мягкой кожи на толстой подошве – чтобы и в грязь, и в мокротень, и в холод, если что. Картуз – и ветром не сдует, и тепло, и где снял – там и бросил, пальто суконное, с ватой, а в мороз... Да что говорить – всё тут не так, как в Сибири, не по-русски чего-то, хоть и столица. Да еще и женщины полуголые на столичных фасадах. Если бы ему раньше сказали об этом, он принял бы такие рассказы за несусветную брехню.

И даже солнце, словно спятив, светило по-особенному, ярко, как на Пасху, хотя почти всё лето шли дожди.

Меж тем, никакого праздника не было. Мало того, не было никакого повода для веселья. А был конец октября 1905 года, на фронте непонятное затишье. Исполинская Россия стояла перед маленькой, но дерзкой Японией с грозным видом, как великан перед карликом, влпившим ему неожиданно и хлестко пощечину. И пока великан в замешательстве раздумывал, как ему наказать нахала, собралась «толпа» из стран мировых-лидеров и применять силу стало не с руки... Полумиллионная русская армия с двумя тысячами орудий, сосредоточившаяся в полной боевой готовности на позициях под Сыпингаем в северо-восточном Китае, готова была обрушиться на обескровленную, измотанную войной японскую армию, не имевшую ни человеческих, ни материальных резервов, ударить и гнать японцев до самого океана, освободить бестолково отданный врагу, героически сражавшийся и полный боеприпасов Порт-Артур, стойко оборонявшийся до тех пор, пока не погибли адмирал Макаров и начальник сухопутной обороны генерал-майор Кондратенко. После их смерти оборону крепости Порт-Артур возглавили люди малодушные, сведшие все усилия и героические подвиги к капитуляции.

В столице начались беспорядки, спровоцированные профессиональными провокаторами. А это подтверждает, что все ждали и всё уже было подготовлено, а события 9 января – только повод, сигнал. И теперь-то пришлось всерьёз усмирять беспорядки с помощью оружия.

Волнения в тылу передавались и армии. В госпитале раненые солдаты, желая разобратся, что происходит, «ходили за правдой» к раненым офицерам. Те собирались в укромных уголках больничных парков и живо обсуждали положение, плотно рассаживаясь на сдвинутые скамейки, покуривая длинные папироски. Солдаты усаживались на принесённые табуретки, на траву, дымили махрой, отгоняя вонючий дым руками в сторону от деликатных офицерских носов. Здесь в бинтах и пижамах, без погон – отношения между чинами были менее формальны, чем в армии. Офицеры, как правило, ораторствовали, солдаты слушали.

Макарову запомнился один молодой офицер, товарищи называли его поручиком. Он был ранен в голову, возможно, лишился глаза. Левая сторона его головы была перебинтована, но, не смотря на это, он превосходно говорил:

– Русская армия исполнилась желанием не только драться, но и победить, – уверял собравшихся поручик.

Он произносил речь обычно стоя, прислонившись спиной к дереву, упираясь одной ногой в ствол и произносил слова негромко, чтобы не привлекать внимание, но ясно и чётко, с усилием напрягая рот, должно быть из-за ранения, которое приносило ему боль. При этом говорил он долго и выразительно.

– Тем более, что до сих пор солдаты не получили ни одного приказа наступать, несмотря на успешные операции в обороне, после которых несомненно – по всем правилам военной науки следовало бы контрнаступать. Пора, господа, – обращался он к офицерам, но так, что слышно было и нижним чинам, – пора дать ответ! Японии разрешили зайти слишком далеко, позволив уничтожить два российских флота!

– Чему вы удивляетесь, – спокойно перебил его старший по возрасту и, должно быть, по чину, с лихими закрученными усами, хотя поручик никакого удивления не выказывал, а скорее наоборот – решительность и горячность. – Японскую эскадру собирали всем "миром". Новейшие – по последнему слову техники, японские броненосцы и крейсера строились за американские и английские деньги на лучших верфях Англии, Германии и Франции. Так что наши корабли с устаревшей артиллерией не могут порой достать японцев, ведущих огонь на дальних дистанциях.

Сидящий рядом с ним, тоже, видно, опытный военный подтверждал, скептически улыбаясь и отгоняя рукой вялого дневного комара:

– Русские бронебойные снаряды в случае попадания только делают дырки в бортах японских броненосцев английской постройки. В то время как японские бризантные «шимозы» жгут русскую броню и русских моряков, даже разорвавшись рядом с кораблем, – к тому времени зловещее слово «шимоза» уже не сходило с языков и обрело облик неодолимой дьявольской силы. – У меня родственник служит на «Громобое».

– Вы про то, как японцы в Корейском проливе «Рюрик» растерзали? – уточнил кто-то из офицеров.

– Тогда особенно! Тогда и «Громобоем» всыпали горячих и «Россию» потрепали.

– Они собой «Рюрик» пытались прикрыть...

– Для примера, господа: на «Варяге» двадцать два человека погибло, а на «Рюрике» двести четыре... Бились до последнего, корабль – в лохмотья.

– Японцы не стесняются осыпать наши корабли шрапнелью, уничтожая орудийную прислугу. А в русской военной доктрине это считается негуманным – в соответствии с международной конвенцией, определяющей «негуманные» способы ведения войны!

Тут снова вдохновлялся поручик:

– Вот именно, господа, *негуманные*! Когда русские, защищая отечество, кого-то уничтожают – это считается негуманно! И пулемёты русская армия стала принимать на вооружение в массовых количествах тоже одной из последних и по тем же соображениям негуманности! Вообще всё, что может привести к победе русской армии, так называемой «мировой ответственностью» объявлено «негуманным». Русским разрешается только «героически» умирать! Самое отвратительное, что «прогрессивная» русская общественность в лице господ Куприных и прочих, возлюбившая «гуманистические» идеалы, поддерживает мнение мировой общественности. Гуманность же к собственному народу выражается в пораженчестве и непротивлении. Воевать, защищая отечество, стало, видите ли, варварством.

– Кстати, – добавлял усатый, – даже Лев Толстой, когда узнал о сдаче Порт-Артура – пришёл в негодование! Такое предательство даже старика Толстого проняло...

– Новые русские корабли не успели пройти толком испытаний, – опять поддержал его знаток морских дел, – или, по чьему-то головотяпству оказались в непредусмотренных ситуациях. Возьмите случай с "Варягом": новейший крейсер, двадцать четыре узла ходу – быстроходнейший в мире! Но не использовал своего преимущества в скорости. На кой чёрт понадобилось Рудневу спасать эту старую, никому не нужную лоханку "Кореец"? Что он мог сделать японцам из своих пушчонок? Вместо того, чтобы сразу взорвать его и с боем на полном ходу прорваться сквозь японский строй? Повезло бы – воевал бы в составе эскадры.

– Да что говорить! – горячо перебивал поручик. – Конечно, русские моряки проявили героизм и совершили подвиг, пред которым даже враги склонили головы. Но в этой войне русские почему-то настроены героически гибнуть, а если и победить, то непременно ценою собственной жизни. Мы разучились побеждать и радоваться, оставаясь живыми, это считается у нас неприличным, нецивилизованным действием и осуждается нашей «культурной» ответственностью... Эта нынешняя, так сказать, «революция» – ведь это бунт и не что иное, как предательство!

Необъяснимое апокалиптическое предчувствие царило в русском обществе, и это настроение едким дымом заволакивало огромную Россию от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга, растравляя души и вселяя в умы бог весть какие настроения.

В сухопутной армии пока еще бодрились, пели, передавая из уст в уста уже сложенные песни о героях этой войны, в основном о моряках, о «Стерегушем», о гордом "Варяге", вальс «На сопках Маньчжурии», «За рекой Ляохэ»<sup>6</sup>

За рекой Ляохэ загорались огни,  
Грозно пушки в ночи грохотали.  
Сотни юных орлов из казачьих полков  
На Инкоу в набег поскакали.

Русская армия так и не дождалась приказа наступать... Америка, финансировавшая эту бойню по заказу Англии, выступила ходатаем Японии о прекращении войны. Россия получила политическую оплеуху...

С грохотом и цокотом прокатывались по Невскому проспекту конные трамваи. Вагоны на электрической тяге в Санкт-Петербурге появлялись лишь зимой, когда рельсы прокладывали по льду Невы.

Тут же сновали пролётки или стояли на углу в ожидании седоков. Так что в воздухе витал близкий сердцу провинциала аромат русской глубинки – конского пота с навозцем.

На афишной тумбе – на углу Невского и Садовой улицы – выделялся начинающий желтеть царский манифест об окончании Русско-японской войны. Макарову спешить особо было некуда, и он невольно остановился, перенес тяжесть тела на костыль и внимательно, с большим интересом прочел:

*"В неисповедимых путях Господних Отечеству Нашему ниспосланы были великие испытания и бедствия кровопролитной войны, обильной многими подвигами самоотверженной храбрости и беззаветной преданности наших славных войск в их упорной борьбе с отважным и сильным противником. Ныне эта столь тяжкая для всех борьба прекращена, и Восток державы Нашей снова обращается к мирному преуспеянию в добром соседстве с отныне вновь дружественной Нам Империей Японскою.*

*Возвещая любезным подданным Нашим о восстановлении мира, Мы уверены, что они соединят молитвы свои с Нашими и с непоколебимою верою в помощь Всевышнего призовут благословение Божие на предстоящие Нам, совместно с избранными от населения людьми,*

<sup>6</sup> В позднем варианте песни гражданской войны 1918-20 гг. «Там вдали за рекой».

*обширные труды, направленные к утверждению и совершенствованию внутреннего благоустройства России."*

У Макарова, который даже под японскими пулями не вжимал голову в плечи, который хладнокровно набивал трубку, пока японская артиллерия обрабатывала их позиции фугасами и шрапнелью, у Макарова, привыкшего идти на смерть, как на ежедневную работу, от обиды покраснели и увлажнились глаза. Ему стало жалко всех: самого Царя, который представлялся ему теперь совсем беспомощным и слабым, жалко товарищей-героев, напрасно отдавших свои жизни во имя победы, жалко тех, кто честно и храбро сражался. Жалко безынициативного главнокомандующего – генерала Куропаткина, который, словно бы подчиняясь чьей-то злой воле, приказывал войскам отступать, чем не только не стяжал себе славы, но обрел репутацию бестолкового полководца. В армии нарастало недовольство. Уже открыто поговаривали о предателях в генеральном штабе. Особенно после яростных боев на Ляоянских позициях, бездарно отданных противнику, уступавшему русским по численности войск и артиллерии.

Среди монотонного городского шума вдруг выделились отдельные возгласы. Со стороны Фонтанки – от Аничкова моста шагала группа молодых людей, оживленно общающихся, с чрезмерной жестикуляцией и излишней суетой, не присущей чопорному Невскому. По-видимому, их кровь горячила не только молодость, но и некоторое количество спиртного. Они вели себя не вызывающе, но проходившие мимо люди, тем не менее, сторонились их, и даже экипажи объезжали стороной, а стоявший на перекрестке городской с длинной шашкой на боку насторожился, скосив глаза в их сторону.

Мимо Макарова, опираясь на костыли, прошёл раненый морской офицер в чине мичмана, с орденом Святого Георгия 4-й степени. Макаров, как мог, встал смирно, отдал честь. Мичман, повернув голову в его сторону, чуть кивнул. Макаров успел заметить обезображенную то ли осколками, то ли обожжённую правую сторону лица офицера и проводил его сочувствующим взглядом. Мичман прошёл дальше, навстречу группе молодых людей. Макаров разглядел их внешность, где видны были и студенческие шинели, и длиннополые пальто, и широкополая шляпа, и даже, несмотря на поздний октябрь, соломенное канотье – что, впрочем, оправдывалось солнечной теплой погодой. Такое разносезонье в одежде характерно для Петербурга – из-за особенностей погоды – переменчивой, как женщина. И надо провести здесь немало времени, чтобы привыкнуть к этому.

Вся компания с разгону обступила мичмана. Его явный вид бывшего фронтовика сразу привлек их внимание.

– А-а! – раздался насмешливый возглас.

Идущий впереди легко одетый – в клетчатые брюки, светлый пиджак, из-под которого выглядывал желтый жилет, резко остановился и слегка приподнял на голове шляпу:

– А-а, господин Защитник Отечества? – он, кривляясь, сделал что-то вроде реверанса – Поздравляем-с с победою-с! – Судя по длинным волосам и цивильному, но эпатирующему виду, это был представитель богемы. Некто, мнящий себя поэтом.

Надо заметить, что Санкт-Петербург начала XX века просто кишел поэтами. Всякий, посещающий литературное собрание, считал себя поэтом – как минимум. Но если бы довелось посетить эти собрания иностранцу, то он непременно решил бы, что это не литературное, а скорее политическое общество.

Раздались смешки и дурашливые восклицания:

– О! Кого имеем честь созерцать – наши обмишурившиеся чудо-богатыри!

– Что, господа-воители, обгадились?

– Обделались, герои?

– Геройски обделались! – сострил один из студентов.

Вся группа скабрёзно заржала, гримасничая красными разгоряченными лицами. От них веяло чем-то нездоровым, в том числе и выпитыми водкою, и пивом, и еще чем-то кислым –

то ли капустою, то ли залежавшейся селедкой, то ли застоявшимися солеными огурцами или просто несвежим телом.

– Надавали вам япошки по мордасам, – продолжал первый, – по чванливому суконному российскому рылу. Великая империя! – его лицо исказилось от злости, закрученные напомаженные усики дернулись, как от боли, – Гниль, помойная яма!

– Да здравствует японский император! – раздалось из-за его спины.

Усатый выбросил руку вверх:

– Господа!! Виват адмиралу Хейхатири Того! – при этом он оскалился.

Так, должно быть, улыбался Хам, таща за руки своих братьев посмотреть на уснувшего обнаженного отца, спасшего всё живое на земле от потопа.

Негативное отношение «русской общественности» к войне было для Макарова уже делом не новым. Вести об этом доходили даже до фронта. Но ни он, ни прочие сограждане не подозревали, что на формирование общественного мнения в России Германия и Америка тратят изрядные суммы денег. Здесь, в Петербурге, лежа в госпитале, Макаров прочитал несколько номеров специальной военной газеты «Русский инвалид» – одной из самых лояльных, наименее залиберальных и наиболее патриотичных. Но даже там события освещались совсем недолжным образом. Говорили, что по газете «Русский инвалид» японцы корректировали планы своих военных действий, заранее зная о планах русского командования. Настолько в угоду гласности и «свободе» печати подробно и беззастенчиво публиковались все распоряжения военного министра, описывались предстоящие манёвры, передислокации и перегруппировки русских войск в районе боевых действий. Эти описания для гражданской публики были совершенно излишними, разве только для того, чтобы вызвать очередной взрыв сарказма.

Что уж говорить о таких газетных изданиях, как эсеровская нелегальная газета «Революционная Россия», открыто призывающая к вооруженной борьбе против царского самодержавия.

Пока же героически сражавшиеся солдаты, матросы и их командиры напрасно отдавали свои жизни во имя Царя и Отечества, управляемые командованием, в основном либо незаинтересованным в победе русской армии, а, следовательно, и в победе самодержавной России над императорской Японией, либо вынужденного подчиняться «общественному мнению». Опять же хотя бы по той причине, что весь «цивилизованный» Запад поддерживал японского императора, считавшегося правым только потому, что он усмирлял имперские «амбиции» России, по крайней мере, до тех пор, пока Япония не стала претендовать на континентальные территории, что, несомненно, усилило бы её влияние на азиатской части континента. А это европейским политикам и «общественному мнению» было не нужно. Присутствие островной Японии на континенте естественным образом добавляло хлопот. Вот тут-то министр Витте швырнул японцам кусок острова Сахалин – на том и разошлись.

Все эти закулисные тонкости мировой политики были неизвестны простому солдату. Да и нужны ли подобные нюансы, исполняющему свой долг защитнику Родины? Для русского человека – это всегда было делом само собой разумеющимся. Для русского понятие «дом» – это не собственный хутор, усадьба, деревня, а вся Россия. Широка русская душа – ей личного благополучия в отдельно взятом фольварке маловато...

У Макарова потемнело в глазах, кровь застучала в висках, учащённо забилось сердце. Он судорожно сжал костыль, так что побелели костяшки пальцев на правой руке. Мичман тоже изменился в лице и выпрямился.

– Ах ты, мокрица сухопутная! – негромко, но яростно прорычал он и схватился за карман, в котором у него, возможно, было какое-то оружие, но выронил костыль и замешкался.

Трудно предсказать, сколь трагично могла закончиться эта встреча. Но тут раздался грозный голос городского, быстро отреагировавшего на беспорядок.

– Прекратить, господа *студенты*! – обратился он к смутьянам, присвоив им сразу же наивысшую категорию нарушителей порядка, – По какому праву митинг, кто разрешил? – Он пробирался сквозь начавших собираться ротозеев, придерживая левой рукой полицейскую «селёдку» – длинную, за всё цепляющуюся шашку, а правой – кобуру с массивным одиннадцатимиллиметровым Смит-Вессоном, шнурок от которого удавкой обвивал воротник полицейского мундира, и, казалось, затягивался на мощной шее, от чего круглое лицо городского стало красным.

– А вот и законные власти, – ехидно выкрикнули из толпы, отчего «господа студенты» осторожно, но гаденько захихикали. Тем не менее, они нехотя попятнулись и стали заворачивать на Садовую. Усатый взял «под козырек», приложив руку к своей шляпе и с дурашливым видом промаршировал мимо городского. Они почти скрылись за углом здания, когда один из них, обернувшись, бросил:

– Сатрап!

Лицо городского вытянулось, нос покраснел и вспотел, брови выстроились лесенкой.

– Что-о-о! – утробно, как кот, прорычал он, – а вот я вас! – с этими словами он схватил толстой лапой, висящий на шее свисток, и сделал такой вдох, поднося его к губам, что показалось – он лопнет сейчас от усердия или раздастся молодецкий свист, и что-нибудь рухнет в Петербурге, какое-нибудь обветшалое здание. Однако вся компания спешно прибавила шагу и скрылась, а городской лишь пососал мундштук свистка, смачно причмокнув, и вдруг заметив, как извозчичья лошадь ступила на край тротуара, накинудся на извозчика так, что испугал лошадь, и та захрапела и пошла боком, путаясь в собственных узловатых ногах :

– Ну, куда, куда прёшь, муж-жик! Вот лишь разрешения на извоз, поедешь в деревню навоз месить!

– Помилуй, ваше благородие, – взмолился удивлённый извозчик, с трудом удерживая лошадь, – у меня в деревне жена и дети малые, я им денежек на еду посылаю, в деревне нам исть вовсе нечего, помрём...

– Но-но, – миролюбиво буркнул городской. – Ты мне ваньку-то не ломай из себя. Исть нечего... Вон пролётка какая. Что я «ваньку»<sup>7</sup> от лихача не отличу...

Макаров быстро доковылял до офицера и, подняв костыль, подал ему.

– Благодарю, – чуть смущенно ответил тот и ушёл, снова сутулясь и тяжело опираясь на костыли.

Городовой же только для вида напустил на себя строгости, тем более, что прочие извозчики вокруг ехали и вдоль и поперёк, правя куда прикажут. На самом деле городской был добрый малый: уважал начальство и соблюдал порядок, получая «откупные» с местных мазуриков из торговых дворов Гостиного и Апраксина. Он любил свою жену и двоих детишек. Раз в неделю ходил к своему приятелю и куму, тоже городовому, собиравшему мзду с потаскух, зарабатывавших свой «нелегкий» хлеб в меблированных комнатах, располагавшихся в аккурат над рестораном «Тройка», что на Загородном проспекте. Встретившись, приятели переодетые в штатское, шли в ресторанчик «Капернаум» на углу Владимирской площади, на которой стоит церковь в честь иконы Владимирской Божьей Матери, и Кузнечного переулка, послушать разговоры обывателей. В этот ресторанчик – несмотря на его низкий разряд – в сущности, обычный трактир, начальство не заглядывало, зато его посещали нередко «интересные» люди, собственно сквозь него прошли многие, причислявшие себя к литературному обществу Петербурга. Как раз в то время его завсегдатаем был скандально известный писатель Александр Куприн. Его недавно вышедшая, но уже ставшая широко известной повесть «Поединок» наделала немало шуму. Некоторые офицеры воспринимали её как оскорбление российской армии и заочно вызывали Куприна на дуэль. Зато вся «передовая», как либеральная, так и в

---

<sup>7</sup> «Ваньками» называли приехавших на временные заработки из деревни, как правило, в летнее время.



особенности левая общественность была в восторге. Высоко оценил повесть и сам Лев Толстой, пожурив, однако, «Поединок» за излишнее «толстовство»!

Здесь, в «Капернауме» завсегдатаи различных пород и мастей, многие с претензией на бегемота, обсуждали последние события:

– Говорят, – цедил сквозь зубы господин с жёлтым, как после малярии, лицом, попивая свежее венское пиво и покуривая папироски товарищества «С. Габай», – что когда кто-то из немецких младших офицеров написал такой же пасквиль, как господин Куприн – только на немецкую армию, автора законопатили на каторгу, а произведение изъяли и уничтожили, сочтя его крайне вредным и разлагающим.

– Что же вы хотите от немцев? У них всегда дисциплина и палка были одно и то же, – отвечал ему господин демократичного вида с усиками а ля Габриэль Лёвель<sup>8</sup>

– Однако порядок-с, доложу я вам... Да что же, господа, может и нам не мешало бы иной раз... Сами ведь рассказывали, как нажились эти... студенты или ещё там кто на офицера – инвалида с войны, – возражал малярийный, обращаясь к переодетому городовой.

– Ну, уж теперь после девятого января и думать нечего. Теперь чуть что – и вспоминают. Теперь с *энтими* только здрасте, да пожалуйста, да мерси-пардон. А чуть что – сразу и палач, и кровопийца..., – смущённо отвечал тот.

– Вы бы это, того... потише, – толкал его локтем кум.

– Гм... Да вот – дожили... Тебе будут в морду плевать, а ты и не утрись даже, не говоря о прочих мерах... А мне сдается, это жидовские происки. Ну, мыслимое ли дело – в воскресенье, с хоругвями, портретами царя, да ещё поп энтот во главе. А Государя-то в столице и не было... К кому же шли? – оправдывался городской.

– Кто ж тогда приказ стрелять отдал? – удивлялся с усиками.

– То-то и оно... – кряхтел городской.

– Да ведь только какой-нибудь дурень не знает, что все эти «революционные» кружки на фабриках – не что иное, как глупейшая затея московского начальника департамента полиции генерала Зубатова. Хотели, дескать, выявить заговорщиков..., – выпалил малярийный.

– А вышло вона как..., – развёл руками городской.

– А вышло так, что народ против Государя настроили. Гапошка ведь засланный, – оживился кум. – И то, какой он священник – одно обличье. Ряса и та краденая – из церкви. Он, говорят, уже не то в Женеве, не то в Париже. В цивильном костюме, брит и пострижен.

– Так ведь, господа, – не выдержал городской, – никакого расстрела на Дворцовой площади не было!

– Как же так?

– Это наверное?

– Доподлинно-с! На Петербургской стороне боевики, которых вёл провокатор Гапон, обстреляли полицию. А те – в ответ. Нешто им ждать, пока их перещёлкают, как кур? Да ещё на Васильевском острове постреляли друг в друга.

– А откуда же жертвы?

– Так ведь то уже наутро расклеили везде заранее заготовленные листовки, где говорилось о сотнях убитых.

– Да-да! А в либеральных газетёнках – так и о тысячах!

– Да-с, а ничего такого не было. Да вы сами подумайте – расстреляли сотни людей, а ни похорон больших, ни такого количества родственников нет – у кого погиб кто-то. Ну вот вы знаете родственников, хоть одного погибшего?

– Нет-с...

– А вы?

---

<sup>8</sup> Позже получил известность под псевдонимом Макс Линдер

– Нет, вроде...

– Вот видите!

– Вот я и говорю – жидов это дело рук. Околпачили народ, настроили против Государя.

– Вот вам и причина еврейских погромов – сами виноваты-с, понарожали революционеров...

– Да ведь в газетах опять же пишут, что погромы правительство организует. Вот как всё запуталось.

– Чертовщина...

– А вот наш народ хоть и подлец, и шельма изрядная, а доверчив порой до глупости.

– Особливо когда за веру, да за Царя.

– Да! Государь для него, что отец родной – накажи, ежели за дело, но и справедливость восстанови!

– Да, это у немцев всё по закону, а у нас закон один – правда.

– Правда то, – останавливал их малярийный, – видите ли, что вся эта шкурная общественность кричит, что война, дескать, несправедливая, что её затеяли родственнички царствующей особы, а вот, поди ж ты, ещё перед самой войной наши, желая предостеречь японцев от активных боевых действий своей мощью(!), открыто допустили японскую и прочую иностранную прессу на кораблестроительные заводы. Естественно, под видом корреспондентов прибыли военные специалисты, которые с дотошностью и большой точностью определили состояние российского флота и сроки постройки новых кораблей. И, сделав выводы, скорректировали и ускорили планы ввода в строй своего нового флота.

– Да-с..., – только и изрёк городской.

– Прямотой и открытостью русских пользуются, как наивной доверчивостью невинной барышни. Между прочим, у того же господина Куприна вышел нынче замечательнейший рассказ «Штабс-капитан Рыбников». Не читали? В журнале «Мир Божий».

– Да как же-с, – спохватился усатый, сидевший до этого с отсутствующим видом. Имел удовольствие. Тут он на удивление высказывает взгляды прямо противоположные тем, что излагал в «Поединке», – обличает беспечность, головотяпство и разгильдяйство и призывает к патриотизму и бдительности.

– Вот-вот...

– Измена кругом...

– Говорите уж прямо – предательство. А ещё говорят – царская Россия зачинщица войны.

– Когда мы уже перестанем всем доверять и открывать перед всеми объятия?

Оскорблённый, уязвлённый в самую душу, взволнованный до крайней степени происшедшим инцидентом, Макаров шёл, ничего не видя перед собой. Собственное бессилие, и бессилие тех, кто полил своей кровью маньчжурскую и китайскую землю, чьи тела покоились на дне Цусимского пролива и Жёлтого моря, душило его, сжимая грудь и не давая пробиваться воздуху в легкие. Поэтому он не заметил, как и откуда перед ним возникла грязная, оборванная нищенка. Она была одета странно даже для нищенки – в мужское платье, но Макаров почему-то сразу безошибочно догадался, что перед ним женщина, или, вернее то, что раньше было женщиной. Она смотрела на него не умоляюще-жалобно, как делают большинство нищих. Взгляд ее лихорадочно горящих глаз вначале казался безумным, но это безумие пронизывало находящегося под ее взглядом, она словно читала чужую судьбу, вглядываясь сквозь время.

– Тебя обидели, солдатик, – заговорила она, гипнотизируя Макарова, – тебе плохо? Я дам тебе пятак – ты его береги. Он поможет тебе... – ничего не осознавая, Макаров взял у нищенки пятак и сунул его в карман галифе. – Уезжай отсюда, солдатик. Чёрный город. Здесь против царя пойдут и против Бога! Страшно будет. И сами убоются содеянного. За это у города святое имя отнято будет и именем сатанинским наречется. За то расплата страшная придет – глад и мор великие, тем только грех свой окупят.

У Макарова перед глазами всё поплыло. Возникли страшные картины: оседающие в облаках пыли храмы, рушащиеся дома в Петербурге, лежащие на улицах трупы людей. Он мотнул головой, пытаясь отвести наваждение, и очнулся. Нищенки уже не было. Да и была ли она вообще? Или это расстроенные фронтом и последними событиями нервы сыграли с ним злую шутку. Он огляделся и увидел, что стоит напротив Казанского собора, мимо которого уже проходил. Макаров понял, что шел не в ту сторону. Он быстро и широко перекрестился на крест собора и зашагал в обратную сторону.

«Стало быть... нищенки не было... И видения эти – так... от расстройства. Нервы, – решил он и вдруг хмыкнул и воспрянул духом. – Хватит, навоевался. Пора тебе, Роман Романович, домой, пора».

На Знаменской площади у вокзала Макаров замедлил шаг возле безногого нищего в солдатской форме. Безногий, сидя на деревянном самокате, пел под гармошку песню, уже ставшую популярной, о морях только что закончившейся войны, это был один из её многочисленных вариантов:

Рычит орудий злая свора,  
Шипят шимозы над водой,  
А молодого комендора  
Несут с пробитой головой.

Но в нас отвага не погибла,  
Хоть ждет соленая вода.  
Орудья главного калибра  
Уже умолкли навсегда

Шрапнель, как вьюга, завывает  
Но с нами вся Святая Русь  
Сигнал прощальный: Погибаю —  
Врагу на милость не сдаюсь!

Горит корабль, как лампада,  
Как свечи, мачты в вышине  
Мы ждём последнего парада  
Прижав лицо к родной броне

Мы рвались в бой не ради славы,  
И кровь мы пролили не зря —  
За нашу Русскую державу,  
За Веру в Бога и Царя!

Правда, последнюю строчку часто заменяли словами: "Мы поднимали якоря". Защищать Царя в последнее время стало неожиданно считаться не то чтобы неправильно, но как-то неприлично.

Макаров с удовольствием послушал хороший голос, но, приглядевшись, с лёгкой грустью и досадой заметил, что форма на калекe хоть и мятая, но явно из новых, в боях не бывавшая, не выгоревшая, не потёртая. Да и лицо у него было хоть и пострадавшее, но скорее от вина, да и выправка не военная. Уж на это у Макарова глаз был наметан. Он, вздохнув, вынул из гаманка двугривенный серебром, бросил в кружку, стоящую у ног инвалида, и отошёл к платформам.

Втискиваясь в вагон, Макаров слегка замешкался, протаскивая мешок и волоча костыль. Сзади раздался басовитый бодрый голос:

– А ну, герой, поднажми, надо места получше занять!

Макаров резко обернулся и неожиданно для самого себя гневно ответил:

– Герой! Да, герой, кровь свою, между прочим, проливал за вас!

Перед ним стоял молодой матрос среднего роста, крепкий, коренастый, с обветренным загорелым лицом — редким для бледнолицых петербуржцев. Он смущенно улыбался.

– Чего ты, чего? Я сам в цусимском бою бывал. Слышал, поди? — с этими словами он ткнул пальцем в бескозырку. Макаров поднял глаза. На черной ленте золотыми буквами было написано название корабля «Аврора».

– Слышал, — уже спокойнее ответил Макаров, пробираясь в вагон.

– А говорят, там и в живых никого не осталось, — Он уже взял себя в руки, и к нему вернулась та крестьянская, с легким лукавством, без труда переходящим в сарказм, уверенность, с которой нередко наш народ встречает всякого рода завирал. — Выплыл, что ли?

– Скажешь тоже, — опять усмехнулся моряк. — Крейсер первого ранга — скорость девятнадцать с лишним узлов и умелый манёвр!

– Манёвр..., — передразнил Макаров, — драпанул, что ли?

Матрос нахмурился.

– Ну ты это... полегче! Мой черед рыб кормить ещё не пришел.

– Они, не сговариваясь сели на противоположные полки. — Мы там тоже, — между прочим, — не кофий с кренделем кушали. Нам о-е-ёй как досталось! — он как-то нервно передёрнулся — видно, от нахлынувших воспоминаний. — Мы ещё вначале — когда за «Олегом» шли, нас два броненосных крейсера атаковали. А «Аврора» наша хоть и новая, но для таких боёв не предназначена. Нам бы в разведку ходить да «торгашей» вражеских перехватывать, транспорт... А потом ещё три крейсера и броненосец на нас навалились, шутка ли! Десять попаданий снарядами до восьми дюймов! — он стащил с головы бескозырку. — Пятнадцать человек команды погибли, капитана убило, Егорьева Евгения Романыча. Едва укрылись за броненосцами... А потом ходу! Куда с такими разрушениями воевать: трубы дымовые повреждены, минный носовой затоплен, и ямы угольные... А стрелять как? Все дальномёры накрылись — считай, без глаз артиллерия, четыре семьдесятпятки повреждены и одна шестидюймовка! Уходили с «Олегом», как раненые лошади от волков — идём, а следом японские миноносцы по нас торпедами жарят.

– Слава Богу, живы, — вздохнул, крестясь, Макаров.

– Тут уж точно, и я готов в Него верить, — согласился матрос.

– Нехорошая война какая-то, — покачал головой Макаров, — непонятная. Все быются как герои, а победа не нам даётся. Силы вражьи..., — он покачал головой, — помилуй, Господи!

– Так с самого начала всё пошло куда-то не туда, как чёрт напутал, — нервно прохрипел матрос. — Ещё в Северном море под Гуллем — это возле Доггер-банки — началась чертовщина. Теперь говорят, что мы обстреляли мирные английские рыболовецкие суда...

– Читал в газетах про это, — живо откликнулся Макаров, — маху вы дали под Гуллем.

Глаза матроса вспыхнули и он рванул бушлат на груди, — Маху, говоришь? И ты льёшь эту баланду, что русский матрос..., — он захлебнулся словами, — да я сам ..., своими глазами..., понимаешь, ты, сухопутный.

– Тише, тише, ну чё, злился<sup>9</sup>-то, — остановил его Макаров, — ты рассказывай, чё видел-то.

– Дело-то как было, — уже спокойней продолжал матрос, но видно внутренний жар продолжал жечь его. — Наша ремонтная база «Камчатка» отстала от отряда. А тут ночью с неё сигнал идёт, мол, атакуют миноносцы. А откуда миноносцы в Северном море, возле Англии, если

---

<sup>9</sup> Злишься

мы с японцами воюем? Сколько там ни талдычат про рыболовов, а я сам видел в ночи вспышки торпедных аппаратов — это на рыболовных-то? Ну «Камчатка» ждать не стала и залпом по ним, те и растворились... Рыболовецкие, — зло усмехнулся матрос, — Мы, между прочим, тоже получили в борт от этих «рыболовов». У нас священник корабельный погиб, отец Анастасий, да комендора одного ранило. Тут хоть глаза лопни, а факт!

— Ну, если священника.., — подытожил Макаров, — тогда без нечистого не обошлось. Не божеское дело, знать было.

— Да ладно, тоже мне запел, как поп на клиросе, — усмехнулся матрос, — только ладану не хватает. Дело тут совсем просто мне видится, — он сделал паузу, принимая многозначительный вид. — В Англии-то для японцев миноноски строили — новейшие. Я уж не знаю, под каким флагом нас атакowali... Может, под английским, может ещё под каким, а может, и вовсе без флага. Не зря ночью дело было. Только англичане потом больше всех брехали, что русские моряки напали на «мирные рыболовецкие суда», пиратами нас называли. Чёртовы капиталисты, — он ненадолго замолчал. Молчал и Макаров. Вдруг матрос весело эдак встрепенулся, — А ты чего такой ершистый, обидел что ли кто? Кстати, — он протянул Макарову руку, — Петров Захар.

Макаров протянул руку в ответ:

— Роман Макаров.

— Сам-то откуда?

— С под Омска, с Сибири...

— Далёко забрался, — покачал головой Захар. — Так что, Макаров? — повторил он вопрос.

— Да.., — нехотя ответил Макаров, — встретил тут одних, — на Невском, на мичмана, между прочим, накинлись.

— А-а, — догадался Захар, — интеллигенция.., этим на зуб не попадай.

Макаров снова заволновался:

— Да пошто они так-то? Мы ведь за их кровь проливали.

— Ты, братишка, не горячись, — сочувственно сказал Захар, — не за них ты кровь проливал, а за буржуев, за Царя.

Макаров вскинулся:

— Так за Царя, за Россию!

— Так ведь за какую Россию — вот вопрос!

Макаров опешил:

— Как, то есть, какую? Россия — Россия и есть. Нешто есть другая?

— Ошибаешься, брат, — Захар подвинулся вперед к Макарову и понизил голос, — есть Россия богатых, капиталистов, помещиков, фабрикантов, банкиров — вот таких, кто сам не воюет, а войны устраивает, и кому война выгодна, а есть народ, который воюет за них. Ты воевал за первых, а народу эта война вовсе не нужна.

— Да как же не воевать, — не мог взять в толк Макаров, — коли напал на нас японец. Как же не защищать свою землю-то?

— Так ведь не просто японец напал, — возразил Захар, — их же свой японский капиталист на нас науськал.

— Пошто так?

— Пошто.., а ты знаешь, сколь они денег на этом заработают? На оружии да на амуниции, на харче солдатском! Вы кровь льете, а они денежки считают...

— Так что делать-то? — недоуменно спросил Макаров.

Захар придвинулся к нему почти вплотную:

— А отобрать всё у них и отдать народу.

— Вот так-так, — Макаров совсем сбился с толку, — кто же Царю служить станет? Государством править?

– Царя тоже того.., – решительно, но тихо бросил Захар.

– Царя?! – изумился Макаров.

– А то, – подтвердил Захар и спросил, понизив голос: – Про «Потёмкин» слышал?

– Так это они из-за харчей.., – махнул рукой Макаров.

– Много ты понимаешь, – обиделся Захар. – Эх! Вот весь флот бы поднять..! А управлять народ станет сам.

Макаров быстро оправился от растерянности.

– Это кто, уж не ты ли в правители метишь?

– Я, – не смущаясь сказал Захар, – и ты.

– Хе, – усмехнулся Макаров, – спасибо за должность. Я, конечно, грамоту знаю, писать-читать умею, но чтобы всей Россией управлять... Ты знаешь, она какая? Я ее, родимую, проехал нынче от моря до моря. Чтобы такой махиной ворочать – сколько знать надо? Возьми хоть полк таких, как я, и то не совладаем. Не-ет — людьми верховодить — это особый дар нужен, а у кого он есть? Никто не знает. Без особого благословения даже и думать не моги! Всё от Бога. А этак-то всяк захочет – в Цари. И потом, я – печник, лодочник справный, меня еще отец этому выучил. Меня даже в Омск зовут печи класть.

– А мы тебя подучим, – не унимался Захар!

– И я буду править?

– Натурально.

– Ну, ладно, лодки – кораблями заменят. А кто ж печки станет класть?

– Другой кто-нибудь.

– А если и он захочет в министры или кто там у тебя будет?

– И его выучим.

– А если все захотят?

Захар замешкался:

– Ну так не бывает, не могут же все...

– Все не могут, это точно, да все захотят — это факт! Ну если не в министры, то эти... стишки писать станут или *патреты* рисовать. Только дай волю... Черной работы никому не захочется. Кто захочет ишачить – спину гнуть, когда все хозяевами станут?

– Несознательный ты, – вдруг срезал его Захар, – каждый будет работать по своим способностям, по своему таланту. Если ты художник – иди рисуй.

– Ну, а кто ж способности-то определит? Каждый сам, что ли? Так ведь каждый о себе знает какого мнения — ого-го! Мол, я да голым задом ёжика задавлю! А на деле с тараканом не совладает. Вот ведь я — печник. Ить печников много, а меня примечают из всех. Да вот у нас в Таре артель иконописная. Их там много. Только все пишут так.., им простые иконки дают писать, что в лавке за пять целковых. А вот один есть — так ему аж сам Государь-Император заказ делал. Потому, что всё от Бога даётся — кому талант править, кому иконы писать, кому печи класть. А ты вместо этого сам берёшься рядить кого куда. Пупок развяжется.

– Поповские штучки, – не сдался Захар. – Человек – всё может, это в тебе твоя частная собственность говорит. Крестьянин — человек темный. Дальше своего хозяйства не видит.

– Дальше носа не видит? – уже войдя в азарт чуть ли не выкрикнул Макаров – А слышал ты, к примеру, про Симеона Верхотурского?

– Из попов что ли? – пожал плечами Захар.

– Из попов.., – передразнил его Макаров. – Жил такой святой в земле Сибирской. Так он вот всю жизнь полушубки шил, ни кола ни двора не имел и денег за работу не брал, так — за харчи работал. Жил, словом, незаметно. Хотя сам был из богатых, из знатного рода. Да всё оставил, чтобы жить во Христе. Даже благодарности ни от кого не имел за работу свою. Сошьёт полушубок и тайно, пока хозяева не хватились, уйдет. Это зимой, а летом и вовсе обитал на природе, рыбку ловил – тем и жил. Никому и в голову не приходило святым его считать. Так,

думали, чудак. И вот он умер... А Господь его святым назвал. После его смерти на его гробе чудеса стали происходить, больные исцеляться.

Рассказ произвел на Захара сильное впечатление.

– Ну, а ты сам-то его видел?

– Симеона-то?

– Ну, да.

– Раку с мощами видел, прикладывался к ней.

– А живого?

– Не-е. Он давно жил, почитай, лет триста назад.

– А-а, – протянул довольный Захар. – Стало быть, ты сам и не видел ничего. А эти сказки мы слышали. Всё попы придумали – народ дурачить.

– А вот и не сказки, – горячо возразил Макаров, – я своими глазами видел, как больные от мощей Симеона Верхотурского исцелялись.

Захар опять посерьёзней, задумчиво помолчал, затем мотнул головой, словно стряхивая наваждение и вдруг широко улыбнулся.

– Сказки, фокусы!

– Э, нет! – опять возразил Макаров. – Это ты сказки плетешь –

Россия без Царя. Он же помазанник Божий! Царь – власть от Бога, а ты от кого предлагаешь? Подумал? Вот, так-то! Вначале думай — потом предлагай! Сам править станешь, – ворчал он, всё никак не успокоившись. – Так-то не бывает.

– А ведь будет! – раздался чей-то голос. Они и не заметили, как к ним подсел еще один пассажир — длинноволосый молодой человек в тёмном длинном пальто, застёгивающимся под самой шеей, как солдатская шинель. Он улыбался виноватой улыбкой. – Будет именно так. Простите, я, кажется, не представился, Кедрин, Павел Кедрин. Да, так вот, ещё батюшка Серафим Саровский предсказывал, что придут времена, когда сатана начнёт с куполов церквей кресты срывать, и время это, судя по всему, наступает!

– Да – факт, – обрадовался Захар, – будет! Царя по шапке — крестьянам воля!

– Это как же? – поинтересовался Макаров.

– А так, – пояснил Захар. – Сейчас ты как живёшь – концы с концами сводишь?

– Господь с тобой, – удивился Макаров. – Живём, слава Богу! Хозяйство свое – лошадь, коровы, хрюшка, птица.

– А земля? – растерянно спросил Захар.

– Земли бери – сколь одолеешь. В Сибири земли вдоволь!

– Ну, ты видать из этих... – зажиточных, – не сдавался Захар.

– Из самых обычных, – возразил Макаров, – у нас все так-то. Разве какой лодырь или пьяница... Дак в Сибири зимой лодырю – который летом не потруился, и не выжить. Она, Сибирь-матушка, лодыря-то не поважает. Круглый год не отдохам. Весной посевна. Летом — на заработках, печки кладу или сенокос... А к осени уборка — по хозяйству чего сделать. Зимой лодки строгаю.

– Это сколько ж у вас, к примеру, корова стоит? – неожиданно поинтересовался Захар.

– Пятнадцать целковых — можно дойную коровёнку взять, – заявил Макаров. – Барана — за пять. Овцу — так что и за три. Сметану у нас – ножом впору резать — до того густая, жёлтая, как масло. Сливки — ложкой едят. Хлебушек свой — рожь да пшеничка озимая...

– Да-а-а, – неопределенно протянул Захар. – Ну это может в Сибири так, там народу мало, а земли сколько хошь. А у нас тут кулак крестьянина разоряет, землю отнимает у него. А что ему делать, когда дома ртов голодных полно? Или иди в батраки к кулаку-миroeду или ложись помирай! – Он помолчал немного. – Нелегко нам с вами будет...

– С кем это с вами? – не понял Макаров.

– С теми, которые к своему добру приросли.

– Неужто голытьбой-то лучше? – удивился Макаров. – Россия всегда на мужике держалась, на крестьянине.

Но Захар больше не отвечал. Он задумчиво уставился в быстро наступившие за окном петербургские сумерки, и только изредка незаметная кривая улыбка появлялась и исчезала на его губах. Вскоре – на станции, он сошёл с поезда.

\* \* \*

Мерно постукивая колёсами на стыках рельсов, плавно укачивая пассажиров, поезд всё дальше уходил от Петербурга и всё ближе подбирался к Москве. И ни унтер Макаров, ни его сведущие спутники не знали, что в это самое время на другой вокзал Петербурга из Германии, среди прочих пассажиров, прибыл один примечательный человек, с суровым серьёзным лицом и большими навывкате круглыми глазами, взгляд которых порой представлялся не менее веским аргументом, чем его полные убеждения речи. Одет он был в короткое европейского покроя пальто, на голове узкий демократичный цилиндр, призванный, однако, подчеркнуть аристократизм его владельца. Звали этого человека Израилем Лазаревичем Гельфандом, известным в Петербурге как Александр Львович Парвус.

Парвус приехал нелегально и, как нелегал, имел подложный паспорт. В силу своего двойного существования Александр Парвус являлся исполнителем столь же двойственной миссии в России. С одной стороны, он был участником и организатором революционной деятельности, впрочем, с весьма туманной партийной ориентацией, составляющей вроде бы конкуренцию большевикам. С другой же стороны — совершенно неясной, он был представителем неких финансовых кругов Германии, впоследствии оказавшихся связанными не только с немецкой финансовой элитой, но и с немецкой внешнеполитической разведкой и даже с немецким генеральным штабом.

Германия по-родственному, по-товарищески подтолкнула Россию к войне с Японией. И немецкие же военные специалисты руководили реформами, обучением и модернизацией японской армии. Результаты этой грандиозной провокации Германии пришлось ей по вкусу. «Кузен Вилли» – император Вильгельм II, лично подначивающий Николая II проучить зазнавшихся японцев, потирал ручки. Теперь наступал черёд Германии для «победы» над Россией и её армией. Победа начинается с морального разложения врага. А русское культурное общество к тому времени изрядно подпортилось... Неудачная война подействовала на левую общественность, как дрожжи на тесто.

Прибыв в Петербург в конце октября, Парвус на немецкие деньги и в содружестве с не менее двойственной личностью – неким Лейбом Давидовичем Бронштейном, прикрывавшимся псевдонимом Лев Троцкий, приняли активное и, надо заметить, успешное участие в создании Петербургского *совета рабочих депутатов*, пристегнув себе для веса левое крыло меньшевистской фракции. Взяв в аренду «Русскую газету», два «русских патриота» – Александр Парвус и Лев Троцкий – быстро подняли её популярность, доведя в считанные дни тираж до 100, а через месяц до 500 тысяч, что в десять раз превышало тираж большевистской газетёнки «Новая жизнь»! Это было невиданной доселе формой революционной борьбы. С помощью газеты Александр Парвус нанёс первый сокрушительный удар по Российской империи, опубликовав там, а также в других, подкупленных им газетах, свой исторический финансовый «Манифест», в действительности же редчайший клеветнический пасквиль.

### **Манифестъ**

*«Правительство на краю банкротства. Оно превратило страну в развалины и усеяло их трупами. Измученные и изголодавшиеся крестьяне не в состоянии платить подати. Правительство на народные деньги открыло кредит помещикам. Теперь ему некуда деваться*



с заложенными помещичьими усадьбами. Фабрики и заводы стоят без дела. Нет работы. Общий торговый застой. Правительство на капитал иностранных займов строило железные дороги, флот, крепости, запасалось оружием. Иссякли иностранные источники, – исчезли казенные заказы. Купец, поставщик, подрядчик, заводчик, привыкшие обогащаться на казенный счет, остаются без наживы и закрывают свои конторы и заводы. Одно банкротство следует за другим. Банки рушатся. Все торговые обороты сократились до последней крайности.

Борьба правительства с революцией создает непрерывные волнения. Никто не уверен в завтрашнем дне.

Иностранный капитал уходит обратно за границу. Уплывает в заграничные банки и капитал "чисто русский". Богачи продают свое имущество и спасаются за границу. Хищники бегут вон из страны и уносят с собой народное добро.

Правительство издавна все доходы государства тратило на армию и флот. Школ нет. Дороги запущены. Несмотря на это, не хватает даже на продовольственное содержание солдат. Проиграли войну отчасти потому, что не было достаточно военных запасов. По всей стране поднимаются восстания обнищавшей и голодной армии.

Железнодорожное хозяйство расстроено, массы железных дорог опустошены правительством. Чтобы восстановить железнодорожное хозяйство, необходимы многие сотни миллионов.

Правительство расхищало сберегательные кассы и раздавало вклады на поддержку частных банков и промышленных предприятий, нередко совершенно дутых. Капиталом мелких вкладчиков оно ведет игру на бирже, подвергая его ежедневному риску.

Золотой запас Государственного Банка ничтожен в сравнении с требованиями по государственным займам и запросам торговых оборотов. Он разлетится в пыль, если при всех сделках будут требовать размена на золотую монету.

Пользуясь безотчетностью государственных финансов, правительство давно уже делает займы, далеко превосходящие платежные средства страны. Оно новыми займами покрывает проценты по старым.

Правительство год за годом составляет фальшивую смету доходов и расходов, при чём и те и другие показывает меньше действительных; грабя по произволу, высчитывает избыток, вместо ежегодного недочета. Бесконтрольные чиновники расхищают и без того истощённую казну.

Приостановить это финансовое разорение может только после свержения самодержавия Учредительное Собрание. Оно займется строгим расследованием государственных финансов и установит подробную, ясную, точную и проверенную смету государственных доходов и расходов (бюджет).

Страх перед народным контролем, который раскроет перед всем миром финансовую несостоятельность правительства, заставляет его затягивать созыв народного представительства.

Финансовое банкротство государства создано самодержавием так же, как и его военное банкротство. Народному представительству предстоит только задача по возможности скорей провести расчет по долгам.

Защищая свое хищничество, правительство заставляет народ вести с ним смертную борьбу. В этой борьбе гибнут и разоряются сотни тысяч граждан и разрушаются в своих основах производство, торговля и средства сообщения.

Исход один – свергнуть правительство, отнять у него последние силы. Надо отрезать у него последний источник существования: финансовые доходы. Необходимо это не только для политического и экономического освобождения страны, но и, в частности, для упорядочения финансового хозяйства государства.

*Мы поэтому решаем:*

*Отказываться от взноса выкупных и всех других казенных платежей. Требовать при всех сделках, при выдаче заработной платы и жалованья – уплаты золотом, а при суммах меньше пяти рублей – полновесной звонкой монетой.*

*Брать вклады из сберегательных касс и из Государственного Банка, требуя уплаты всей суммы золотом.*

*Самодержавие никогда не пользовалось доверием народа и не имело от него полномочий.*

*В настоящее время правительство распоряжается в границах собственного государства, как в завоеванной стране.*

*Посему мы решаем не допускать уплаты долгов по всем тем займам, которые царское правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со всем народом.*

*Совет Рабочих Депутатов.*

*Главный Комитет Всероссийского Крестьянского Союза.*

*Центральный Комитет и Организационная Комиссия Российской Социал-Демократической Рабочей Партии.*

*Центральный Комитет Партии Социалистов-революционеров. Центральный Комитет Польской Социалистической Партии.*

Как много значило тогда в России печатное слово. Может быть, поэтому теперь оно практически не значит ничего...

Конечно, эта лживая писанина ещё не могла низвергнуть ни самодержавие, ни финансовую систему империи. Но так называемый «манифест» вызвал серьёзную финансовую панику. Богатого всегда легче напугать нищетой. В ноябре-декабре резко выросли требования вкладчиков о выплатах из сберегательных касс золотой монетой. В создавшейся ситуации Государственный банк был вынужден выдать сберегательным кассам кредит под залог ценных бумаг. В декабре 1905 года эмиссионное право Госбанка<sup>10</sup> снизилось практически до нуля. В правительстве многие готовы были предложить отказаться от золотого рубля. Положение «спас» только самый крупный в истории России внешний заём 1906 года во Франции.

В конце января 1906 года задолженность сберкасс Госбанку достигла максимума, составив более 55 миллионов рублей.

Как всегда, при организации любой подобной паники сообщение о ненадежности банков и неустойчивости валюты вызвало массовое изъятие вкладов из сберегательных касс.

В результате подобных финансовых смут бывают не только потерпевшие, но и те, кто «выловил» свою «рыбку» в мутной финансово-политической водичке под устроенный «революционный» галдёж. Потерпевшими были российские банки и все государство, финансовая система которого подверглась тяжелому потрясению. Как показала дальнейшая история – сам Парвус и его «друзья», снабдившие его средствами, тоже сорвали приличный куш.

На Русско-японской войне хорошо заработали Англия и Америка, не только умножив свой политический капитал, но и высосав финансы Японии и откусив от российского пирога. Финансовым кризисом в России воспользовались германские банкиры. Они предъявили России требование о высылке в Берлин большой партии золота на 60 миллионов рублей. От «Финансового манифеста» Парвуса выиграли и банкиры Франции, которые согласились поддерживать Россию займом, но на кабальных условиях.

Финансовый манифест «Совета» был не чем иным, как провокацией, детонатором декабрьского восстания. Подкрепленный стачкой и баррикадными боями, он вызвал грандиозный резонанс во всей стране. В то время как за предшествовавшие три года вклады в сберегательные кассы в течение декабря превышали выдачи на 4 миллиона рублей, в декабре 1905 года

---

<sup>10</sup> предельный размер выпуска в обращение денежных знаков

перевес выдач над вкладами равнялся 90 миллионам: манифест извлек из правительственных резервуаров в течение месяца 94 миллиона рублей!

Только когда восстание было подавлено силой оружия и пролитием русской крови с обеих сторон, равновесие в сберегательных кассах снова восстановилось.

Вставшую дыбом шерсть на российском загривке пригладили железной гребёнкой. Но Российскую империю ожидал второй удар. Через одиннадцать лет, в разгар первой мировой войны, когда русские войска почти разгромили Германию, Парвус, за громадную сумму, полученную от Германии, выпустит вторую бесовскую грамоту...

\* \* \*

Макаров, взбудораженный происшествиями и разговорами, всё никак не мог успокоиться, ёрзал, вздыхал, бубнил чего-то себе под нос. Видя его состояние, Павел Кедрин сам начал разговор.

– Простите, но вижу, вам не даёт покоя этот разговор с матросом? – обратился он к Макарову.

Тот пожал плечами, покивал головой и, наконец, ответил:

– Не в одном матросе дело... Много нынче со мной всякого приключилось, – Кедрин внимательно слушал. Макаров немного помолчал, словно собираясь с мыслями, пытался собрать воедино все события. – Мы вот там на фронте воевали.., – начал он, – Ну уж как умели! Но труса никто не праздновал. За Россию воевали, за Царя, за веру нашу христианскую, – он смущённо кашлянул.

– Ничего, ничего, – успокоил его Кедрин. – Вы это очень хорошо сказали, именно за веру!

– Ну вот, – обрадовался Макаров. – Вы, простите, кто будете?

– Я семинарию нынче заканчиваю, – ответил Кедрин.

– Стало быть, ещё молоды совсем? – Макаров чуть задумался.

– Ну всё равно... Вы понимаете, здесь в столице всё оказалось не так. Вся наша пролитая кровь никому не нужна. Вся война эта никому не нужна. Столько жертв, а для кого? Я, – Макаров сокрушённо покачал головой, – уже совсем не понимаю, что происходит...

Кедрин немного подождал.

– Понимаете, – начал он, – я, возможно, ещё молод.., но меня так воспитали в семье... Мой отец священник. Так вот, у меня есть ещё часа три, я попробую объяснить. Понимаете, мы — русские, при всей нашей горячности и эмоциональности, очень любим правду и справедливость. Отсюда наша прямота и искренность, когда дело касается серьёзных вопросов. Это не на рынке, когда один другому лошадь беззубую за рысака выдаёт и, оба смеясь, всё понимают. А когда вопрос о вере, о земле, о справедливости... Я понятно говорю?

– Соврёшь — я замечу, – усмехнулся Макаров.

– Так вот, – продолжал Кедрин. – Мы долготерпеливые, мы можем пойти на какие угодно компромиссы, лишь бы ужиться с соседями, поскольку даже худой мир — лучше ссоры. Но вот, когда приходит на нашу землю враг — тут мы беспощадны. Потому что для нас это высшая несправедливость, когда покушаются на чужое. Или когда один у другого отбирает...

– Верно, верно вы говорите, – оживился Макаров. – Видал я нынче, как мужик наш за землю свою воюет. Да что там, – он махнул рукой, – мы ведь и китайску землю защищали, как свою. Он<sup>11</sup> что!

– Вот-вот, – подхватил мысль Кедрин, – народ наш победить невозможно, и именно потому, что силён он в вере православной. Помните в Евангелии от Матфея: «Взявшие меч, мечом погибнут» – вот наша справедливость. «Положить жизнь за други своя — нет большей

---

<sup>11</sup> Зап.-сиб. – вон (указ.)

любви» – вот что для русского всегда было не только высшим подвигом, но и высшей наградой. Наше сообщество, коллективизм, артельность, соборность — вот наша сила! А пока жива вера православная, мы — русские все, как один, мы – непобедимы. Но как вера ослабнет, каждый сам за себя станет, о себе заботиться, потянет общественный «воз» на себя, тут и начнут нас враги побеждать, разрозненных да разобщённых. И *они* — это про нас давно поняли. Вот и стремятся друг на друга натравить и веру нашу ослабить.

– Да как же *они* это делают? – озабоченно спросил Макаров.

– Тут способы разные... Ну, перво-наперво вот – науку противопоставили религии. Дескать, наука Бога отвергает! А всё, что в церкви — это не научно. А ведь наука родилась в церкви. Самые образованные люди монахи были. И русские учёные были людьми верующими, вот, к примеру, Ломоносов. Слыхали про такого?

– Это как его... – Михайло Васильевич?

– Он самый, – радостно подтвердил Кедрин. – Теперь вот, – продолжил он, – Люди «образованные» правду видят – в науке. А мужик, что пашет землю и живёт в вере Христовой, он вроде как, по их мнению, тёмный, науку отрицает. Стало быть, отсталый класс, тормозящий развитие. Опять же на Западе цивилизация, машины разные, внешняя чистота, культура внешняя приятная, хотя и индивидуализм, каждый за себя. И всё вроде благодаря науке. Но значит, и нам надо тянуться к Западу, то есть к культуре и науке. А без этого у нас ни культуры, ни науки быть не может! А тут крестьянин наш со своей «вековой ленью» не хочет ничего менять, цивилизации ему не надо.

– Какая ж лень, – возмутился Макаров, – когда мужик всю Россию кормит, да ещё и за границу продают!

– Так наша интеллигенция считает... А чтобы оправдаться —

представляют мужика пьяницей, рабом покорнейшим и смиреннейшим, как изображает господин Некрасов в своих стихах. Соблазняют... Это после Разина да Пугачёва... А мужик-то наш, как порох – только спичку поднеси. Только церковью и сдерживается, смиряется. А чуть что, скажи ему, что Бога нет – враз все разнесёт, по клочкам развеет. Но ведь крестьянин не против прогресса. Он против порядков иноземных восстаёт. Вот Запад на нас войной и идёт, стало быть, завоевать хочет — чтобы «культуру» насильно внести. А «тёмный» народ войной на него. Ему, сиволапому, чистую салфетку под нос суют, а он портянкой утирается. «Варварство» проявляет, агрессию по отношению к «цивилизации». И *оттуда* нам кричат, что мы варвары. А наша интеллигенция хочет быть «цивилизованной», хочет с «варварством» русским покончить, вот она войну и не приветствует.

Макарова эти слова больно задел.

– Да нешто не понимают оне, что предательство это, что землю свою продают супостату, веру православную! Ить грамотные — не нам чета!

– Н-нет, не понимают... Не теми категориями мыслят. Не все, конечно... А именно те, кто только внешнюю сторону культуры видит, формальную, обёртку, так сказать, красивую. А внутреннюю, глубоко укоренившуюся культуру русского народа – совесть, стыд, поиск правды, прямоту – считают пережитком. Вера для них — пережиток, суеверие. Патриотизм и верность — тоже пережиток, устаревшие понятия, архаичные. Правда по нынешним понятиям устанавливается законодательством, юридическим правом. А землёй — пусть лучше хоть чужеземцы владеют, «культурные» и «образованные» цивилизацию прививают, чем свои мужики-лапотники. Вон на Западе де какая урожайность – вчетверо против нашего! Надеются — чужой дядя «порядок» наведёт, на научной основе! Глядишь, и им что-нибудь перепадёт. Даже научные тому подтверждения приводят! Даже легенду придумали, что, дескать, Рюрика позвали из варягов, чтобы на русской земле порядок навести, а Рюрик-то всего лишь третейский судья был...

– Умны вы, хоть и молоды, – задумчиво сказал Макаров.

– Нет, не умён, – возразил Кедрин, – был бы умён — знал бы, как сие предотвратить. Но спасибо, что выслушали, что поверили мне, а только не своим умом я дошёл. Батюшка мой так мне внушал, с тем и я согласен, с тем и живу. Потому, как правда в этом.

– Да, – согласился Макаров, – ну, а Царь-то им чем не угодил?

Кедрин грустно улыбнулся и развёл руками:

– Так ведь он основа всего, столп православной веры. Царь – символ империи. Не будет Царя — и православие не будет государственной религией. Не будет православия — не будет России как государства. У нас вон сколько инородцев. Будет просто какая-то страна, заселённая разными народами, но страна без веры, без души, которую сразу приберут к рукам все кому не лень, кто проворнее окажется. Это в лучшем случае, если народы, живущие бок о бок, не передерутся...

– Неужто инородцам плохо сейчас? – удивился Макаров. – У нас кого только нет в Сибири, а все живут на равных.

– Всяко, конечно бывает..., – ответил уклончиво Кедрин.

– А только если православную веру в России отменят, русские потеряют свою силу, плохо им будет. А русским плохо будет — и инородцам несдобровать. На нас давно *оттуда* зуб точат.

– Ну а матрос этот чего же? – всё не унимался Макаров. – Ему-то чего не хватает, вроде наш брат, а туда же?

– Так ведь здесь, в центральной России, тоже по-разному живут. В иной год – в неурожай народ с голоду мрёт. Европу кормим, а наш мужик хлебушка вдосталь не ел... Тут всё зависит от того, кто хозяин. Как вольготно раньше монастырские крестьяне жили, пока монастыри не стали притеснять, земли отбирать. Богатства Сибири рекой текут за границу, а сюда лишь крохи, да не всем. Народ не больно богатеет, а в России и вовсе порой нищета. Теперь вот опять же *новый* хозяин появился – из зажиточных крестьян – кулак, или из нижних чинов. Обманом да хитростью скупают землю у мужика, подводят его под кабалу, пользуясь неурожаем, нуждой, а то и подлогом, подкупом. Ничем не брезгают. Пошла зараза эта – пуще эпидемии какой. Вот эти новые хозяева, что из грязи да в князи, мужику спуска не дают, раздевают догола, по миру пускают. Это тебе не старый русский барин, что крестьянам как отец родной. Эти со своих же в три шкуры дерут. А мужик от безысходности и заливает водкой разум, потому как твёрёзо глядеть на мир Божий сил нет. Нет никакой мочи. Закон-то на стороне нового хозяина-кулака. И власть местная – становой, на его стороне. Чего греха таить – и наш брат сельский священник, вот он тоже за счёт мужика живёт, а против власти не пойдёт, и не только потому что всякая власть от Бога... А стало быть, и он нередко мироеду покровительствует. А то, сказать честно, немало и имеет от него, прикормился возле кулака. Порой ему и с крестьянина, которого кула обобрал, не взять ничего, а мироед тут как тут... Мужику правду не сыскать. Вот он и пьёт, пьёт, а потом шапкой оземь да за вилы и «красного петуха» мироеду под крышу.

Он сделал паузу, помолчал.

– Новый порядок пошёл – из крестьянина наёмного батрака делают, из хозяина – неимущую голытьбу. Тут реформы нужны. И Царь может их провести... А только тем, кто владеет землёй да деньгами реформы не нужны, и они народ на Царя натравляют, дескать, от него все беды, от сатрапа. А убери царя – вся Россия под гору полетит без удержу. Кто тогда дельцов, спекулянтов да хапуг, эксплуататоров всяких попридержит? Некому. Мироед крестьянина разорит, по миру пустит.

– Откуда же он завёлся кулак этот? – удивился Макаров.

– Да ведь откуда – опять же с Запада пришло. Индивидуалист – сам себе Бог и судья. На Западе индивидуализм уже лет семьсот правит, и называется гуманизмом. Ну вам эти материи ни к чему, – спохватился Кедрин.

– Так как же быть? Как остановить разорение?

– Да ведь как, – задумался Кедрин. – Надо чтобы кулак у крестьянина землю не отнимал.

– А как? – не унимался Макаров.

– Ну вот, допустим, кулак хочет землю иметь, а у помещиков её вон сколько, порой запущенной, невозделанной. Вот и надо чтобы от помещика земля кулаку перешла.

– За так он не отдаст.

– Так не отдаст, а продать может, к примеру, – Кедрин немного помолчал. – Реформа нужна, – повторил он. А с матросом – дело ясное. Матрос – городской житель, рабочий... От земли уже оторвался. Она для него – понятие смутное, абстрактное. Те рабочие, которые ходят в церковь, у которых условия хорошие хозяева создали: больницы, жильё, школы — те за своих хозяев стеной. А у которых ни кола ни двора, которые живут в нищете, работают за гроши, да ещё в Бога не веруют! У которых одно утешение — в кабаке. Вот этих – на что хочешь можно подбить. Пьянство и безнравственность – первейшее оружие борьбы с любым народом, с любой верой. Ну, а этот ещё и матрос. Походил по морю, поглядел на страны заморские. За чужим забором, всегда яблоки вкуснее. А после петербургской слякоти при солнечном свете – любая, извините, халупа хоромами покажется... Да что говорить – вот вы не знаете, должно быть, а только и среди духовенства есть такие, что предлагают в церковь европейскую «культуру» внести.

– Что ты! – изумился Макаров.

– Да-а, – грустно подтвердил Кедрин. – Ну, для начала там — батюшек одеть в пиджачные пары, скамеечки поставить для прихожан, как в костёлах, ну а кое-кто уже и до таинств добирается...

Макаров не на шутку взволновался, вспыхнул весь:

– Да ить сперва скамеечки, потом сенца – чтоб помягче, а потом и перину в церкву потянут. Бесу палец дай – всю руку отхватит. Начни себе потакать – ни в чём не откажешь, для себя-то. Вначале посчитаешь себя вправе косо посмотреть на соседа, а потом и грабёж оправдаешь. Старики наши сказывали, что как стали у нас иноземцам-то потакать, иноземные порядки заводить, в церкву их пустили, так и пошла в раскол Русь-матушка. Народу сколь загублено было...

– Вот-вот, – с грустной улыбкой сказал Кедрин, – вы человек простой – и то понятие имеете. Потому что здесь не столько ум нужен, книжные знания, сколько мудрость житейская, а она в нашем народе от Бога. Вы вот нынче японца воевали. Война – это страшно, но вы даже себе не представляете, сколь трагичны отношения японцев с христианами. Ещё совсем недавно в Японии христианство было запрещено! В течение трёх веков не прекращались гонения на христиан. Согласно законам, японцев, принимающих христианство, ожидала мучительная смертная казнь. А вышло вот как: когда в Японии появились первые христиане – это были католики. Следствием их деятельности, интриг стали две страшнейшие гражданские войны в Японии. И всё из-за их двойной морали, из-за их принципа «разделяй и властвуй», из-за стремления Запада над миром властвовать. Японцы в ответ поступили просто – всех христиан или прогнали, или казнили, а христианские святыни – кресты, чаши для причастия и прочее вмонтировали в ступени своих храмов, чтобы каждый входящий и выходящий мог их попирать ногами. Только усилиями православных подвижников в 1873 году вышел указ, даровавший безопасность японским христианам. Сколько сил пришлось для этого положить... И вот в 1861 году молодой иеромонах Николай<sup>12</sup> впервые ступил на японскую землю. Вы вот и не знаете, а отец Николай там, в Японии всю войну молился о мире между нами.

Макаров подавленно молчал.

– Да-а! – наконец сказал он. – Зря это вы мне рассказали... Как теперь с эти жить-то?

– Да как жили..., – пожал плечами Кедрин. – Теперь у вас есть опыт. У вас ведь есть детки?

– Один пока.

---

<sup>12</sup> Касаткин

– Вот вы свой опыт на воспитание его и употребите, как мой батюшка, на моё воспитание, простите.

– А как же вы с таким понятием и в семинарию пошли? Батюшкой быть собираетесь, зная про всё это?

Кедрин смущённо улыбнулся.

– Именно, – покачал он головой, – именно поэтому... Хотя, согласен с вами – скорбно всё это. У знакомых моего батюшки, тоже священников, дети не то что в семинарию, а и в церковь не ходят.

– А куды ж? – удивился Макаров.

– Так вот в науку... А больше даже в политику. Ведь вот тот же матрос – не понимает, что ему веру в Царство Божие на небе подменили на «рай» на земле и без Бога. Всё по-научному объяснили, доказали. Даже признаки выявили – ишь, дескать, как наука и техника развиваются – всё во благо человека. Надо только улучшить самого человека с помощью науки. Ведь это тоже вера, но вера ложная, потому что истина на небесах, а на земле правды нет. Никто допрежь не видел, а теперь и не увидит.

Макаров похлопал себя по бокам, отыскивая кисет. Нащупав что-то в кармане галифе, вынул большой старинный медный пятак. Повертев его, он разглядел на реверсе дату: 1760...

## 2

*«Если дела европейских наций будут с 1912 по 1950 г. идти так же, как они шли с 1900 по 1912 г., Россия к середине текущего века будет господствовать над Европой как в политических, так и в экономическом и финансовом отношениях»*

Эдмон Тери, редактор французского журнала *Economiste European*, январь 1914 г.:

Жаркое, знойное лето грезилось в 1914 году в Западной Сибири. Уже в мае дни стояли горячими, а ночи тёплыми, так что можно ходить в одной рубашке — если комаров не боишься, задорных сибирских комариков, незаметных при солнце, но поедающих всякого непривычного к ним с наступлением сумерек или в тенистом утреннем ещё влажном лесочке.

— О-ой, — не по-сибирски напевно, с какой-то молитвенной интонацией причитала Устинья — жена отставного унтера Романа Макарова, — чтой-то бу-у-дет, Ром, а? — Роман по привычке пропускал без ответа начальные реплики женских речей. — Зо-ори смотри-ко на вечер кра-а-асны-ы-ые-е-е. Как кровью окрашенные. Чё ж так, пошто? Беды бы какой не случилось...

Роман, наконец, не выдержал, перестал хлебать постные щи из оставшейся в погребке прошлогодней капусты:

— Да ну, ей-Богу, Устя, вам, бабам, всё, что ни случись на природе — всё к чему-то, и всё, понимаешь, к худу.

— Так вот, ишь, в девятьсот пятом годе, как тебе вернуться раненому с войны этой проклятущей, на Валааме-острове схимонах старец святой представился Агапий — красно всё было по небу-то, и когда через три года батюшка Иоанн Кронштадтский отошёл ко Господу, и эт вот... министра-то того убили, три года назад, как от его...Залепина — что ль?

— Столыпина? — вопросительно подсказал Роман.

— От его, так то ж всё красно бывало от...

Макаров живо вспомнил, как он видел Столыпина в Омске четыре года назад<sup>13</sup>. Роман Макаров тогда работал в бригаде печников, клали печи в новом доме на Гасфордовской улице.

Проехать мимо, не посетив такой большой город, Столыпин не мог. За время его службы в качестве министра население в Омске увеличилось вдвое и достигло почти 114 тысяч человек. Быстрый рост населения создавал множество проблем, требовал дополнительного серьёзного финансирования.

24 августа в половине одиннадцатого Столыпин прибыл в Омск в сопровождении главного управляющего земледелием и землеустройством статс-секретаря Кривошеина.

Простой народ на узкий перрон, где и так едва хватило место для оркестра и представителей власти и общественности, не пустили. Но мальчишки и парни помоложе с раннего утра облепили окрестные заборы, столбы, водокачку и технические постройки.

Подошёл поезд, окутанный паром, грянул марш. Сидящий наверху народ комментировал события для тех, кто стоял внизу.

— Кажись, выходят...

— Встречают наши... Кандидов, ишь, шагает, подобрался весь, лапорт подаёт...

— Хлеб с солью подносят.

— Которые, Сень, с хлебом-то? — допытывался у напарника Макаров.

— Да от мещан, видать...

— Ни, с ним ещё какой-то.

— Так вот — от еврейского общества.

— Иди ты!

---

<sup>13</sup> В 1910 г.



– Точно, точно – ишь в ермолках, наши-то картузы сняли...

– Ну уж эти-то куда с хлебом-солью?

На следующий день вечером Столыпин отбыл в Павлодар на пароходе «Туринск» в сопровождении ещё двух пароходов – один маленький пошел впереди в качестве разведчика мелей.

Тут уже перед отъездом народу выпала возможность взглянуть на важного гостя. К положенному часу на Переселенческой пристани, на Иртыше, собралось множество зевак. Когда Столыпин с группой сопровождающих вышел на пристань, полицмейстер бодро скомандовал народу:

– Шапки долой!

Это было внове, в Сибири шапки ломать перед начальством не принято, головные уборы снимали только в церкви и входя в дом, крестясь на иконы, и все мужчины так и остались стоять в картузах и шляпах, лишь с опаской и недоумением покосившись на полицмейстера.

– Вот варнаки<sup>14</sup>.., – смущённо пробурчал тот.

Столыпин сделал вид, что не заметил конфуза и бодро прошествовал к парадному трапу.

– Лето жаркое, – сказал Макаров, отрываясь от воспоминаний, — вот и зори красные с вечера. Вот если бы с утра — тогда к ненастью. А то к жаре, да не к засухе, потому что и дожди, как положено, в срок.

Он нарочно нагонял на себя строгость, даже как бы грубость, боясь, что охи-вздохи Устиньшки, мимо которой он и так пройти спокойно не мог: то тронет её ненароком тихонько, то и погладит подчас, вроде украдкой. Не принято это в сибирском краю – лишняя ласковость – что наведёт на него томление, от которого мужик только слабеет. Да оно бы и ничего, Устинья уж пятого вынашивала — совсем разбабилась, сердобольная стала да жалостливая. В церковь пойдёт или на рынок — мимо нищих не пройдёт, кому копеечку подаст, кому хлебушка. Всех-то ей жалко, за всех переживает заранее. Свой ли ребялёнок или чужой в запале детских игр упадёт, коленки обдерёт, или нос расквасит – поднимет, успокоит, погладит по головушке. Своих троих уж на ноги поставили, одному вот не повезло — младенчиком помер. Да ведь то почти у каждой бабы – какие так помногу рожают нынче. И то удивительно — одни мальчонки. Бабам уж тут и повод побалабонить: «К войне это, говорят, к несчастью...», – что ты с ними сделаешь. Который месяц всем душу рвут.

– Говорят, в позапрошлом годе, – тянула своё Устинья, – чуть войны не случилось. Старец наш Григорий с Туры – перед Государем на коленях стоял. Вымолил у царя мир.

– Вот ещё, – усмехнулся Макаров. – Станет Император старцев ваших слушать. Уж оне присоветуют... Добро, когда бы Серафим ещё жив был с Саровской пустыни или отец Иоанн. А то Гришка Распутин из Тобольской губернии! Ему ещё до старца-то далеко.

– А только при каждом государе духовный старец был, прозорливец. Государь вдаль глядит, а старец вглубь.., – не унималась Устинья.

– Дай, мать, утирку, и буди-к Ромку, – сказал Макаров, не зная, как уже прервать бабские стенания, но и не желая обидеть горячо любимую жену, – пора нам... – Роман Романыч уже знал — тут и батя наказывал, и сам уже по-опыту уразумел — как ни любишь, а нельзя бабам жалость свою показывать, слабость, за советом к ним идти – на шею сядут, верховодить начнут. Лучшешний раз осадить, рыкнуть. Тяжело им, так ведь и ему тяжело, любит он жену, жалеет... Значит, для её же пользы.

– Там, Ром! – окликнула его Устинья. – В сенцах стоит – я поросёнку болтушку приготовила, снеси ноне.

Ближе к концу мая, в самый Петров пост, кто живёт на Иртыше и кто не дурак — с утра уже на реке. Идёт стерлядь. Сейчас-то её и можно взять, пока она не встала на жировку в ямы,

---

<sup>14</sup> варнак – распространённое в Зап. Сибири. Означает – неслух, лихой человек, тать.

тогда её, сытую, попробуй, вымани. А теперь только меняй наживку на крючках. Зато уже будет стерлядей впрок солёных, копчёных, маринованных. Да и свежей стерляжьей ухи с блёстками жёлтого жира похлебать. А уж пирог из стерляди — сочный, мягкий, да без костей, хрящички только так аппетитно на зубах: хруп-хруп, хрясь-хрясь, что ты!

Младший Макаров Роман поднялся, сопя спросонья, почёсываясь, ещё похрапывая на ходу вдогонку, бубня что-то под нос, протопал, покачиваясь в сенцы, хлебнул квасу, зачерпнув ковшом из кадушки, потом, взбодрясь, вышел на крытое крыльцо, подошёл к рукомойнику. Так уж повелось в роду Макаровых, что старших сыновей всех называли Романами. Потому — каждый старший в своём поколении — Роман Романович. И то сказать — почти всегда первенцем был мальчик, за редким исключением. И потому, может, много солдат было в роду Макаровых. Дед Романа участвовал в войне 1812 года, а прадед воевал ещё с Суворовым.

Пока Макаров-младший приводил себя в порядок, пил чай со вчерашними шанежками, Макаров-старший сходил в сарайку на краю огорода, ближе к речке, отнёс поросёнку ведро болтушки, подкинул коровам сена, всыпал овса мерину, радостно раздувшему ноздри при виде хозяина, зачерпнул несколько вёдер воды из колодца, влил в специальный жёлоб. Вода разлилась по поилкам.

Он начал утро, зная, что жена и младшие дети будут ломить весь день по хозяйству до нестерпимой боли в пояснице и состояния полной сонливости на вечерней молитве, радуясь отходу ко сну, как избавлению. Слава Богу за всё!

Макаров готовился к рыбалке. Набрал из ведра накопанных загодя дождевых червей, уложил их в деревянный ящик, посыпал влажной испитой чайной гущей, чуть-чуть землицей, прикрыл листиками и травкой — чтоб солнце не попало, чтоб червь не «сварился». Набрал на огороде лежней — личинок майского жука, для приманки язя. Взял два лёгких тонких рыбацких багорца, острогу, стальной крюк-карабин для удержания шнура на стремнине, топорик.

— Слышь, тять, — услышал он, когда почти уже все было готово. Младший Макаров вышел на крыльцо. — Я в календарь заглянул — сегодня обретение мощей преподобного Макария Калязинского.

— Дай Бог, — отозвался Макаров старший.

— Наш день, говорю, — пояснил младший Макаров.

— Чтой-то? — не сразу понял старший.

— Так Макария же преподобного... А мы ж Макаровы — наш день.

— Дай-то Бог...

Перемёты проверяли утречком, но не очень рано, а уж когда солнце поднимется, но стараясь успеть к полудню. Так чтобы прошёл утренний клёв. Надо бы и перед вечерним клёвом проверять — перед тем, как оставить снасть на ночь, и не столько из-за рыбы, сколько из-за норовистого характера Иртыша, который за сутки наносит столько травы, что она тяжёлой гирляндой нависает на шнуре перемёта и при проверке снасти даёт дополнительное сопротивление несущейся воде.

Макаровы неторопливым шагом вышли на берег реки. В этом месте берег высокий, обрывистый, что говорит о большой глубине. Здесь и пристань — и судам причаливать удобно, и рыба-стерлядь глубину любит. Такое расположение жилых построек на Иртыше — не праздность. В иное половодье он разливается так, что затопляет вокруг все низменности, дома в низинках затопляет по крышу, а чаще сносит совсем. В этом году как раз было наводнение. Волны бились в отвесные кручи, осыпая берег и затопляя низинную часть, жилые дома и хозяйственные постройки. И до сих пор на берегу от воды свободна лишь узкая сырая полоска песка, захлёстываемая волной, после прохода парохода, буксира или во время ветра.

У пристани как раз стоял пароход. У сходней с волнением толпился народ, слышны были крики и даже ругань.

— Видал, посудина! — кивнул Макаров сыну.

– Это «Ростислав» купца Плотникова с сыновьями, – деловито присмотревшись, заявил Рома, – готовятся Омск проскочить... Нынче из Омска начал ещё «Коммерсант» ходить, товарищества «Русаков».

– Хэ, – весело усмехнулся Макаров-старший, – ты их всех уже выучил.

Это было время активного развития пароходства на Иртыше. Из-за жёсткой коммерческой конкуренции и борьбы за место между компаниями все расписания прибытия-убытия пароходов переиначивались от сикось-накось до накоси-выкуси. Народ брал пароходы штурмом, грузился вповалку: платки, картузы, пиджаки, юбки; корзины, мешки, кофры, саквояжи и узлы, узлы, узлы; гуси, куры, визжат поросята, несёт луком и чесноком, потом, кожей сапог, овчиной, кислым молоком и квашеной капустой, вяленой рыбой, вином. Гвалт, ругань а то и мордобой; неудобство, теснота. И все только потому, что когда ждать следующий пароход – неизвестно, а грузы, те же пиломатериалы наворачивали сверху на всё, что попадёт, иной раз сминая тенты для пассажиров на палубе и снося лёгкие надстройки. Выгода делала своё дело. Омск был тяжким испытанием и для судна, и для команды. Серьёзную конкуренцию составляло разросшееся к тому времени Товарищество Западно-Сибирского пароходства и торговли, имевшее 25 товарно-пассажирских и 24 буксирных пароходов — не считая больше сотни мелких судов. Это была самая крупная судоходная компания не только на Иртыше, но и на Оби, с которой Иртыш соединялся, прежде чем влиться в Обскую губу и в море.

Здесь, с кручи, Иртыш виден от поворота до поворота, разливаясь, блестящей сталью, широкой лентой. Можно с полной уверенностью сказать, что когда-то отсюда любовался Иртышом сам Ермак Тимофеевич. Он и был основателем городка Тара на Иртыше – крепости, противостоявшей хану Кучуму.

\* \* \*

К 1914 году Омск стал важнейшей сырьевой базой России. В Называевской была главная перевалочная база лучшего в *мире* сибирского сливочного масла. Иностранные компании «Торговый дом Вентин и к<sup>о</sup>», фирмы «Рандом и Рестроф», «Рандруп и к<sup>о</sup>», основали здесь свои представительства. Доходы российской империи от торговли сибирским сливочным маслом за границу были сопоставимы с доходами от продажи нефти! Ещё при министре Столыпине, три-четыре года назад, Сибирь засыпала дешёвым хлебом всю европейскую Россию так, что его поставки пришлось ограничить.

Столыпин твёрдой рукой окоротил вставшую было на дыбы Россию, и она, взявшись за дело, ещё не освоив никаких реформ, показала, на что способна. Казалось, сама природа способствует этому, сам Господь Бог. Пётр Столыпин умирил бунт, убедил правительство в необходимости дать крестьянам землю на откуп, оживил жизнь в Сибири, заполняя её переселенцами на нетронутые, непаханные земли. Главной в реформе Столыпина была не только система столыпинских «отрубов», уничтожающая чересполосицу. Эта реформа, прежде всего, упорядочивала, начавшийся стихийно, процесс разложения крестьянских общин, составлявших после церковного раскола, отмены патриаршества и монастырских реформ последний оплот экономической мощи России. Зарождался новый вид хозяйства – единоличный. Распад крестьянской общины шёл не только изнутри, по инициативе нового типа хозяина-кулака, но и со стороны, путём скупки крестьянских земель дельцами и предпринимателями из разночинцев. Стихийно возникал новый тип землевладельца-индивидуалиста, использующего наёмный труд – батраков. Появлялся кулак, подминавший крестьянские хозяйства под себя, превращавший крестьян в неимущих. Дабы избежать этого, Столыпин предлагал зажиточным крестьянам выкупить земли у помещиков, или переселиться на новые земли в Сибирь на льготных условиях. Но пока процент крестьянских хозяйств, выкупивших землю, был небольшим. И крестьянская община в центральной России всё ещё составляла фундамент государственной

жизни, потому что основа её не столько сельскохозяйственная, сколько духовная... У России душа народная – коллективная.

Столыпинская реформа помогала преодолеть сельскохозяйственный кризис в России. Всё это давало народу свободно вздохнуть и укрепляло не только порядок в стране, но и мощь России, и царскую власть. А это не нравилось тем, кто предпочитал «ловить рыбку в мутной воде». Столыпинские реформы укрепляли единоначалие и силу державы, но ослабляли самостоятельность правящей элиты, чиновников, рвущихся к европейской «цивилизованности», промышленных магнатов, тянущихся «поруководить» страной, уже появившихся крупных землевладельцев – для них Пётр Аркадьевич Столыпин был реакционер и лютей враг.

Министр финансов Сергей Юльевич Витте, ещё задолго до Русско-японской войны активно урезавший финансирование разведки и армии, с пеной у рта доказывавший Царю Николаю II, что крепость Порт-Артур России не нужна, а потом во время самой войны являвшийся противником активных действий и после войны «победоносно» отдавший японцам половину острова Сахалин, за что был прозван Витте-Полусахалинский, ненавидел Столыпина, и во время его службы премьер-министром, главным образом, занимался тем, что мешал ему. Возможно, поэтому на одном из домов на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге висит мемориальная доска с его именем. А памятники Столыпину остаются без надлежащего ухода.

Кстати, именно Сергею Юльевичу Витте принадлежит воплощённая им идея: сделать рубль золотым. После чего деньги стали успешно вытекать из страны – ведь золотом можно расплачиваться где угодно. Это привело к тому, что уже к 1903 году наша промышленность пришла в сильнейший упадок, зато нагрянул иностранный торговый капитал. А тут и Русско-японская война подоспела. Ну, а потом и Парвус с Троцким, то есть Гельфанд с Бронштейном, бросили своим манифестом клич: тащи золото из банков, из России Российской казну. Пускай страну по ветру!

Даже далёкий от экономики человек вряд ли сочтёт это простой глупостью или недоразумением...

Ещё сильнее – и Столыпина, и пришедшее с ним российское благополучие – ненавидели иностранные державы, для которых российская мощь была страшнее эпидемии чумы. Англия с Америкой затевали грязные игры, то натравливая на Россию Японию, убеждая, что она может победить Россию, то пугая российской мощью старушку Европу, науськивая её: «Ату! Куси!». И не жалели миллиардов денег на революцию, на «демократизацию» России, чтобы ослабить Российскую империю изнутри. А главное – свергнуть самодержавие — краеугольный камень русской государственности, власть, поддерживаемую народом и поддерживающую народ.

Тем не менее, уже в начале 1880-х годов под руководством министра внутренних дел Н. П. Игнатьева, министра государственных имуществ М. Н. Островского и министра финансов Н. Х. Бунге было разработано Положение о Крестьянском банке. В мае 1882 года документ был утвержден Царем.

К 1915 году свыше миллиона крестьянских дворов приобрели через банк более 15,9 миллионов десятин земли. Общая сумма выданных ссуд превысила 1,35 миллиардов рублей!

Средства на выдачу ссуд Крестьянский банк получал путём выпуска 5,5%-ных закладных листов с номиналом 100, 500 и 1000 рублей, обеспеченных землёй, принятой банком в залог, и за счёт правительственных субсидий. Банк выдавал ссуды в размере 80–90% стоимости покупаемой земли на срок от 13 лет до 51 года. По ссудам банк взимал от 7,5% до 8,5% годовых. Ссуды крестьянам выдавались только при покупке земли у помещиков. Всего с 1906 по 1915 году крестьяне купили у банка и при его содействии 10,4 миллиона десятин.

Вот только как политику Петру Аркадьевичу Столыпину не на кого было опереться, кроме националистов. Здоровой консервативной силы в России тогда уже не находилось.

А Сибирь богатела, практический интерес и коммерция делали свою политику. Сибирь наливалась капиталами, вырастали банки, торговые дома, строились театры, музеи... Сибирский хозяин ни за какие посулы не желал менять свой уютный, просторный тулуп на заграничный подперденчик.

К 1914 году Россия вышла на первое место по производству хлеба. На мировом рынке экспорт российского хлеба составлял одну треть!

\* \* \*

Иртышская вода – чистая, прозрачная, очень вкусная — невозможно напиться, пьёшь и ещё хочется. А иртышский лёд не только кристально чистый, но и имеет благородный голубоватый оттенок. Его специально возят в Санкт-Петербург — напитки охлаждать, или вот ледяные фигуры вырезают – лучше Иртышского льда и не сыскать, что твой хрусталь и даже чище. Даже за границу его экспортируют.

Макаровы спустились на прибрежный песок по длинной деревянной лестнице, боком прилепившейся к серому земляному обрыву. Справа — выше по течению, метрах в пятистах от ближайшего жилья, стена обрыва испещрена множеством небольших отверстий — гнёзд ласточек. Здесь на отмеченном высокими вешками месте и стояли перемёты. Здесь же лежала вытасченная на треть корпуса из воды деревянная лодка.

Лодку Макаров мастерил сам. Или, как он сам выражался, «сочинял». Он и другим «сочинял» — за плату. На Иртыше лодку сделать — особое искусство. Тем более, по заказу, каждому свой размер, свой фасон. Ну, раньше-то были мастера... Тут какое попало корыто не пойдёт, плоскодонка враз перевернётся. Это тебе не озеро, не залив, не старица. Тут настоящий маленький корабль нужен. Киль чтобы из широкой крепкой доски; остов — как на корабле шпангоуты; длинный, наклонный, далеко выдающийся вперёд форштевень, сзади широкая тоже наклонная корма, куда нередко крепили руль – всё надо обшить, чтобы течи не было. Обшивались лодки по-старинке – «внакрой», так обшивали древние русские набойные ладьи и корабли-драконы<sup>15</sup> викингов, а много позднее – казачьи струги и ладьи-дощаники казачьих отрядов, покоривших Сибирь.

Лес для лодок Макаров заготавливал сам, во дворе годами выдерживая брёвна с покрашенными масляной краской или промасленными густым маслом или олифой торцами. А от срока выдержки древесины зависели и качество лодки и цена.

Лес он вылавливал на реке. С начала судоходного сезона и до конца — пока в низовьях, на севере, не встанет лёд, тянулись по Иртышу буксиры с длинными «хвостами» брёвен. Их крепили торец в торец скобами, потом вязали «нитки» между собой и на тросах цепляли к буксиру. На поворотах, на стремнине, нет-нет, да и уносило бревно-другое. Их-то и цеплял длинным багром Макаров, а нередко и «отщипывал» брёвна от хвоста буксира. Потом буксировал в тальник, росший у самой воды и даже в воде при разливе. А затем, запрягши лошадей, в сумерках увозил всё это домой. Вначале грузил брёвна с живущим у самого берега бакенщиком Филиппом, делясь с ним добычей — давал ему бревно на хозяйственные нужды. А когда Ромка подрос — уже обходился своими силами. Иной раз Макаров промышлял возле лесоперевалочной базы. Лес лежал на берегу и частью в воде, так что и тут порой относил отдельные брёвнышки. За такой мелочью никто не гонялся — тоже добро-то! Вон его сколько, больше сгниёт...

Макаровы сложили снасти и инвентарь на дно лодки и, взявшись с двух сторон, стащили её в воду. Старший Макаров сел на вёсла, а младший ещё пару метров провёл лодку от берега, правя против течения, пока вода не стала подниматься ему выше колен, добираясь до раструбов

---

<sup>15</sup> «Драккары»(норв. Drakkar)

бахил. Тогда он, навалившись грудью на корму, перевалился в лодку, уселся и, зацепив багром шнур перемёта, надел на него стальной крюк-карабин.

Солнце уже светило вовсю, но ещё не начало жарить, да и на реке дул прохладный ветерок – вода в это время года была ещё холодная. Когда отошли от берега — где вода чистая, без песка, Макаров-младший взял из-под кормового сиденья медную кружку и, зачерпнув холодной речной водицы, всю её жадно выпил, большими глотками. Макаров старший покосился на него.

– Чего это ты сырую воду с утра хлещешь?

У Макарова младшего покраснели уши, он нагнулся, убирая кружку на место.

– Да это..., – замешкался он, придумывая ответ, – наплясался, видно, вчера на кругу, вода потом и вышла...

– Наплясался..., – передразнил отец. – Вон — целую кружку хлобыстнул! Наплясался... С этих-то лет привыкаешь...

– Так для веселья, для задору, – виновато промямлил младший Макаров, – по рюмочке..., – добавил он совсем неубедительно. – Ну, все ж пили...

– А ты не пей, – назидательно прервал отец. – Мало, что все! Шас много всяких умников, мало ли кто чего затеет... А если все зачнут не в дверь, а в окно лазить и штаны через голову надевать, и ты с имя?

Младший Макаров томился. Он знал основательный характер отца, его настойчивость и умение доводить всякое дело до конца, в том числе и чтение морали.

– Ну скажешь тоже..., – хмыкнул он, – штаны..., что я, дурак, что ли...

– Умный, стало быть?

Младший пожал плечами, дескать, и не сомневайся.

– А к Соньке-солдатке ходил, – резанул его отец, – тоже от ума большого?

– Ничё не ходил! – попытался соврать сынок.

– Ну, ты мне Игнатом не прикидывайся! – одёрнул старший Макаров. – Матери ейная соседка сказывала.

– Так то когда было, один раз...

– Оди-ин..., – опять передразнил отец. – Перед матерью-то не стыдно? – Макаров-младший покраснел. – А-а-а, – удовлетворённо протянул отец, – И то..., – он чуть помолчал и, повернув голову, посмотрел вдаль – вдоль реки.

Сонька-солдатка, как можно подумать, вовсе не была солдатской вдовой или женой. Лет пять назад ещё пришла в город с этапом очередная партия ссыльных, среди которых пребывала молодая, со смазливим личиком, девица Софья Керч. Была она ещё не замужем, а ей подошёл уже срок для этого дела. Она схлестнулась с солдатиком из охраны каторжного винокуренного завода. Дело завертелось серьёзно. Сонька ходила в невестах. Начальство, узнав про это, солдатика спровадило в Омск на охрану уголовников. И тут выяснилось, что Сонька брюхатая. Разразился скандал с вмешательством урядника. Для проформы допросили солдата на предмет женитьбы. Тот был родом из Сормовских рабочих, и оставаться «батрачить в Сибири» отказался. Его посекли – не до смерти и отправили назад за Урал. Сонька жила в доме у одинокого деда, старый покосившийся домишко которого стоял в низинке, иногда в половодье затопляемой водой. В положенный срок она родила, но ребёнок вследствие ли свалившихся на его мать невзгод или по другой причине долго не прожил. «Бог прибрал выблядка-то, – поговаривали в народе. – И то сказать, чего бы из него выросло. Мало нам своих варнаков». Через полгода скончался и дед. Сонька стала с тех пор бедовать-погуливать, поскольку была совсем ещё молода – едва двадцати одного года, и соблазнительна телом после родов. А замуж брать её в здешних краях с такой репутацией охотников не нашлось. Но у Соньки уже выиграло ретивое, шлея попала бабе под подол, и её было не остановить, так что у самой порой захватывало дух. Тому способствовало её занятие – цирюльня на дому. Дело дошло до станового пристава.

Он собственной персоной пригрозил ей, что если не опомнится наживёт дурную болезнь, или узнает помощник исправника, или, не дай Бог, сам исправник – он тогда лично законопатит её в такие палестины, что и Сибирь-матушка ей покажется колорадскими долинами. Об этих долинах Сонька имела весьма смутное представление, но с тех пор стала тише и скрытнее, деятельность её в глаза не бросалась, но и масштабы не уменьшились. Её «дружочки» ей быстро надоедали, она начинала ненавидеть их лютой ненавистью и потому находилась в постоянном поиске очередного сердечного друга – жертвы её страсти. Вроде мстила кому-то за свою пропащую жизнь.

Называли её вначале полным титулом: Сонька — солдатская подстилка. Но вслух принародно говорили только: Сонька солдатская, опускаая «подстилку» как элемент непристойный. Со временем же прозвище для удобства трансформировалось в «солдатку». Кличка «солдатка» закрепилось за ней так, что стали забывать её фамилию, даже в официальных сводках о переписи населения и его благонадёжности числилась Софья Солдатка как законно именуемая.

Общественность от таких фордебасов была в шоке. Своих девок старались пораньше выдать замуж, а в случае какого изъяна спровадить в монастырь или служить в богадельню, пристроить при церкви, в чернички — только не оставлять в одиноком положении, дабы не допустить блуда. И общество, как могло, противостояло Сонькиному распутству, а она таким вот своеобразным способом боролась с общественным «консерватизмом», открыв собственную цирюльню на дому и тем узаконив притон. И вот уже среди молодых парней стало доблестью – побывать в Сонькиной «парикмахерской» в укромную пору. А без этого — ты вроде как и неполноценный, не в авторитете...

Но это, оказалось, не вся беда. Вскоре выяснилось, что Софья, будучи ещё девицей, овладела грамотой, читала Маркса, Дюринга и Плеханова, а теперь организовала «литературный» кружок.

Сборища молодёжи стали гласными и происходили в дневное время. Но из всех истин, преподносимых литературой, там усваивались только антимонархические и антиеврейские настроения. При этом превозносилось новое невиданное божество – *международный интернационал* – организация, созданная международным масонством для установления единого мирового порядка. Церковь и вообще всякая религия объявлялись врагом номер один.

В Сибири, где основу общественной жизни составлял религиозный уклад, пусть не всегда церковный, но всё же подразумевающий строгость нравов, Сонькин образ существования оценивался не иначе как *беснование*. А Сонька, и без того не принимавшая религию, теперь вовсе возненавидела церковь и священников до крайней степени.

– Это они – попы, – говорила она горячо и страстно, – делают вас рабами, послушными животными, баранами, которыми удобно управлять! А человек должен быть свободным! Должен жить полной жизнью, любить. Совершать ошибки, да! Сердцу ведь не прикажешь. Никто не может быть гарантирован от того, что может влюбиться не один раз. Любовь – это величайшее, прекраснейшее чувство! А эти мракобесы церковники кричат нам: «Не прелюбодействуй!». А сами, поди, девок щупают по тёмным углам!

Провозглашалась свобода любви и половых отношений как одна из главных составляющих свободы человека. Служба в армии представлялась античеловечной и варварской затеей. От таких вопиющих противоречий и от дискредитации жизни отцов и дедов молодёжь, посещавшая эти заседания, становилась агрессивной и неуправляемой.

Прочие ссыльные – а их к тому времени в Таре насчитывалось уже более двух тысяч – тоже строгостью нравов не отличались. Они также вели беспорядочную совместную жизнь, сходились и расходились со своими сожительницами и сожителями и, прямо сказать, пример для молодёжи являли собой наихудший. Но всё же они не втягивали в свои отношения местных парней и девушек, к тому же давали лишний повод попенять: вот, дескать, смотри – не будешь родителей слушаться, таким же вырастишь...

Но Сонька прямо-таки взялась за «перевоспитание» туземных жителей на новый «прогрессивный», как казалось многим, европейский лад.

– Не приучайся, – сказал отец Макаров задумчиво. Жениться станешь, как невесте в глаза глядеть будешь? Да и растрезвонят ещё. У нас и так – тут чихнёшь на одном конце города, а на другом здоровья желают.

– Дак эт ещё када жениться-то, – смущенно сказал младший Макаров, – я, может, ещё в солдаты пойду.

– Так и в солдаты, – встрепенулся отец. – Тебе ружьё в руки дадут, отправят на святое дело – отчизну защищать, мать свою, братьев, Царя! Святое, понимаешь! А ты с грязной рожей...

\* \* \*

Вообще отношение в Сибири к верховной власти было, как к мачехе, данной Богом за грехи. Однако детей воспитывали в уважении к старшим и ко всякой власти, иначе порядку не будет. Но мятежный дух многих тысяч староверов и прошедших через сибирские остроги заключённых, жажда власти справедливой – «народного» Царя, при случае прорывались наружу.

– Да ладно, батя! – не выдержал, наконец, младший Макаров, – я-от слышал — мне Алёна сказывала, ты в молодости тоже...

– Слышал..., – ворчливо перебил его отец, – в церкви слушай — больше толку будет. Это Алёна тебя огрызаться с родителями научила? Алёна твоя хоть про кого сказала что-нибудь путное? Вся в мать свою, язык как помело — всю грязь метёт...

Тут уж Макаров-младший хотел окончательно возмутиться, поскольку считал Алёну Истомину своей невестой. Алёна была дочерью швеи Домны Истоминой. Когда-то муж Домны работал учётчиком у заготовителя-поставщика сала. Жили они хорошо, в достатке. Но однажды муж, никогда до того не болевший, простудился, слёг и в несколько дней сошёл на нет и помер – от жесточайшего воспаления лёгких. Домна, привыкшая к жизни сытой, занялась пошивом платьев для купеческих жён. За тканями и новыми фасонами она ездила в Омск, Екатеринбург, на знаменитую Ирбитскую ярмарку и даже в Казань. Была один раз аж в самой Москве. И потому считала себя женщиной светской, культурной, вела дружбу с купчихами и их дочками, одевалась ярко, вызывая, с претензией на оригинальность, стараясь выделиться. Хлеба почти не ела, считая это мужицкой привычкой. Носила зауженные на бёдрах юбки и платья, кофточки, подчёркивающие бюст, платков почти не носила — всё шляпки, чем вызвала насмешки молодых парней и мальчишек. Алёна по малолетству быстро набралась у матери спеси, любила наряжаться, подкрашивала брови и пудрилась, считая это признаком культурности. Она закончила трёхлетнюю женскую гимназию в Таре, собиралась поехать учиться в Омск и теперь, имея «прогрессивные» взгляды, посещала литературные кружки Соньки-солдатки — в дневное время. На этой почве у них с Ромой Макаровым и вышла недавно размолвка, когда собирающемуся в церковь на вечернюю службу Роману Алёна заявила, что Бога нет, а всё создала *сама природа*, люди – такие же животные, только умнее и хитрее, и этим надо пользоваться... Такого кощунства младший Макаров, воспитанный на вере в Бога, прививаемой из поколения в поколение, стерпеть не мог. Но он любил Алёну и хотел сам во всём разобраться, а для начала поближе познакомиться с Сонькой. И потому, когда его приятель Минька Крутиков предложил сходить вечером к Соньке «просветиться» – как выразился Минька, Рома почти сразу же согласился. Идти вдвоём было сподручнее, вроде как за компанию. А идти к Соньке в дневное время Рома опасался, ещё примут тоже за безбожника, как потом в церковь пойти? Бабы, он знал наверняка, все кости перемоют и матери уши прожужжат, со свету сведут



вопросами: «А чё эт ваш Ромка-то...», – и так далее, и тому подобное, и пошло, и понеслось по воздуху, и сам поверишь в эту небывь.

На следующий день вечером в сумерках – дело было в конце марта – Минька Крутиков поджидал Рому возле калитки.

- Ну чё, идём? – спросил он решительно.
- Куда? – зачем-то спросил Рома, хотя и так знал, куда зовёт его Крутиков.
- Сам знаешь, – усмехнулся Минька, – или струсил?
- Чё мне трусить, – пожал плечами Рома, – не на медведя идём...

\* \* \*

Они пробрались к ограде Сонькиного дома со стороны луговины. Осторожно отодвинули притвор, прошли через огород, вошли в ограду. Собаки у Соньки не было. Пока дед-хозяин был жив, жила у него собачка Розка. Но дедка умер, и собачка сдохла. Сонька забывала её покормить и с цепи не спускала, а когда Розка начинала скулить, то кидала в неё поленьями или била палкой. Розка скулить перестала, только лежала с грустным видом и жалобно попискивала, а вскоре и околела.

Минька с Ромой приблизились к дому.

- Стой, – вдруг осадил Минька, – не фарт нынче.
- Чего? – не понял Рома.
- Вишь, свечка горит, – кивнул Минька на мерцающий огонёк в окне.
- Ну? – всё ещё не понял Рома.
- Ну-ну — портянки гну, – передразнил Минька, – сегодня не пойдём, видишь гнёздышко занято. Вот когда лампа гореть будет...

Вечером следующего дня в Сонькином окошке горела лампа...

– Мишунька, карапузик! – посмеивалась Сонька, впуская парней в дом. – Чего ты – на ночь глядя. И мамка тебя отпустила?

– Отпустила, – со смешком так же отвечал Минька, – вот велела гостинцев тебе передать, – с этими словами он достал из кармана кулёк с пряниками и халвой, а из-за пазухи бутылку самогона.

Рома, войдя в дом, хотел по привычке перекреститься, но угол, в котором по обыкновению висели иконы, был пуст. Вместо этого на стене висел портрет бородатого лохматого мужчины. Но лик у него был не иконописный.

– Ой, а это что за птенчик? – наморщила носик Сонька, рассматривая Рому. – Лицо вроде как знакомое, да раньше тут не бывал?

– Это товарищ мой, Ромка Макаров, – пояснил Минька, – так, за компанию...

– А-а, ну-ну, – усмехнулась Сонька. – Ну? – спросила она вошедших, хитро улыбаясь, – что будем делать?

Парни переглянулись и переступили с ноги на ногу, Рома почувствовал, что краснеет.

– Так это, – нашёлся бывалый Минька, – посидим, покалякаем, выпьем.

– Ох, уж ты нас своей сивухой потчевать будешь, – махнула рукой Сонька, продолжая хитро улыбаться одними губами и не сводя глаз с Ромы, от чего тот краснел ещё больше. – Птенчик-то вон, поди, самогонки не пьёт, а, птенчик?

У Ромы вдруг перехватило горло, так что пришлось откашляться, и он сипло сказал:

– Я вообще-то не очень...

– Не очень! – Всплеснула руками Сонька и залилась беззвучным смехом, – а чего же сюда пришёл? В полночь книжки читать?

Рома и сам уже понял, что зря притащился сюда, все эти разговорчики, смешочки, намёки скабрезные смущали его и коробили, хотя и щекотали нервы и возбуждали тайное любопытство, в котором он и сам себе не хотел признаться.

– Ничего, – вдруг успокоила его Сонька, – у меня наливочка есть сладкая, малиновая. Мы с птенчиком наливочку будем пить. А ты, – обратилась она к Миньке, – дуй свою самогонку.

– С нашим удовольствием, – чуть обиженно помотал головой Минька, усаживаясь за стол, – «Свое — не краденое», – сказал Мартын, наевшись мыла...

Рома всё ещё стоял в нерешительности, раздумывая, как поступить.

– Что ж ты, птенчик, – со смешком, но нежно обратилась к нему Сонька, – присаживайся вот напротив, а я к Мишуньке под бочок.

Сонька уселась возле Миньки, по другую сторону стола. Рома, немного успокоившись, присел к столу, но тут же понял, что Соньке, сидящей напротив, так сподручнее его рассматривать. И она, действительно, обращаясь к Миньке и разговаривая всё время с ним, почти безотрывно смотрела на Рому. Она налила ему и себе по стакану наливки, Минька взял стопку с самогоном, они чокнулись и выпили. Наливка оказалась вкусная, сладкая, но крепкая. Рома это почувствовал не сразу, а лишь после выпитого за первым второго стакана, когда по телу побежало тепло, спало напряжение, ему стало весело. И Сонька с Минькой – тоже оказались весёлыми и совсем непохабными. Рома заулыбался. Ему показалось, что он только теперь рассмотрел Соньку по-настоящему. Что она вовсе не такая маленькая и тощая, какой казалась ему раньше. А её нездешние выющиеся чёрные волосы, отливавшие воронёным блеском, восхищали своей необычностью, особой красотой. Ему захотелось их потрогать, понюхать, ощутить их прикосновение к своей щеке...

– Ой! – Всплеснула руками Сонька, – птенчик-то наш в себя пришёл, а то всё пёрышки топоришил. Ну, – обратилась она к Роме, весело глядя на него, – скажи чего-нибудь.

– А это..., – Рома кашлянул.

– Ну-у, – ласково ответила Сонька, – что-о?

– А правду говорят..., – он ещё раз взволнованно кашлянул, – что ты говоришь..., – Рома глянул на Миньку и снова на Соньку так, что та даже на мгновение перестала улыбаться, – говорят, что..., что говоришь..., что Бога нет?

Сонька на мгновение застыла с круглыми глазами и открытым ртом, а потом, еле сдерживая хохот, схватилась рукой за сердце.

– Что-о-о? Что-о-оо?! Что ты, птен-чик! – тут уже Сонька не выдержала и взорвалась протяжным бабьим смехом.

Минька тоже грохнул пьяным рычащим басом. Сонька привстала и, откидывая назад голову, раскачиваясь от смеха и опираясь о стол, подошла к Роме, с размаху положив ему руку на плечо, горячо и сильно поцеловала в губы под Минькино ржание. И снова облачиваясь о стол, шлёпнулась назад, повалившись телом на Миньку. Тот, продолжая ржать, обхватил её одной рукой за талию и вторую руку положил ей на грудь.

– Ой, птенчик, ой, уморил! – продолжала заливаться Сонька, лежа в Минькиных объятиях и будто не замечая его руку на своей груди.

От поцелуя Сонькиных горячих влажных губ Рому обдало жаром, словно огнём из топки. В то мгновение, когда она целовала его, он впервые ощутил такой сладкий, тёплый, пьянящий и расслабляющий женский дух, какого он никогда ещё в жизни не чувал, от которого у него вдруг напрягло, а потом обмякло и ослабло всё тело так, что его затрясло, как от лихоманки. Рома посмотрел на бесстыдно развалившуюся Соньку.

– Я..., – начал он, преодолевая спазмы в горле, – покурю пойду..., – и он пошарил у себя по карманам, делая вид, что ищет курево.

Курева, конечно, не было. Он ещё не курил. Вообще, в роду Макаровых Ромин отец был единственный пока курящий, и то приучился к этому поздно, на фронте в Маньчжурии. Деды же и прадеды Макарова вообще не знали табаку.

– Сходи, сходи, птенчик, – причитала Сонька, давась от смеха, – вон папиросы на печке.

Рома поднялся, достал с печки коробку папирос фабрики Шапошникова «Меланж», вынул папироску и выскочил на воздух. Тут только он глубоко вздохнул и почувствовал, как сознание возвращается к нему. Немного отдышавшись, он заглянул в окно. Сонька с Минькой, прижавшись друг другу, пьяно целовались взасос. Романа всего передёрнуло. Он скомкал папироску, добежал до калитки и, не таясь, вышел на улицу.

Ему теперь было в разговоре с отцом досадно и обидно и за себя, и за Алёну, и замечание отца по поводу Алёны возмутило его.

Спустя месяц после их с Минькой ночного визита к Соньке, однажды вечером, собираясь на круг – петь песни под гармошку и плясать, Рома, выходя из калитки дома, столкнулся с Сонькой. По всему видно, что она поджидала его. От неожиданности Рома смутился и даже, слегка опешив, вспотел.

– Что ж ты, птенчик, – ласково спросила Сонька, глядя прямо ему в глаза, – не заходишь?

– Времени нет, – только и нашёлся соврать Рома, не выдерживая бесстыдного Сонькиного взгляда и опуская глаза.

– Чем же ты, такой молодой, занят-то? – усмехнулась Сонька, продолжая пытаться его, говоря грудным бабьим голосом, словно мурлычущая кошка. Рома почувствовал, как у него опять по всему телу засеменяли мурашки. – Может, наливочка моя тебе не сладка?

Рома, подавив спазм в горле, давась словами, едва ответил:

– Вк-кусная наливка...

– М-м-м? – маякнула Сонька, – а у меня ещё есть...

Рома почувствовал, что всё тело у него становится ватным, руки и ноги начинают дрожать. У него даже поплыл горячий туман перед глазами. Но в это время его окликнули проходившие мимо парни, и он, обрадовавшись поводу, быстро зашагал прочь, сказав только:

– Я, вишь, спешу...

– Ну-ну, бросила ему вдогонку Сонька. Так ты заходи, не прогоню, – и добавила смеясь: – Наливочки выпьем!

– С кем это ты? – спросили Рому парни, не разглядев Соньку в сумерках.

– Так, – ответил Рома, натягивая картуз на глаза. Надвигающаяся темнота скрыла его румянец.

С тех пор Сонька стала частенько попадаться ему на глаза – то на рынке среди народа, то на пристани – встанет и глядит, как он мешки таскает. Даже возле церкви несколько раз он видел её. И всё чаще и чаще в последнее время. И если вначале Сонька смотрела на него, слегка краснея и даже чуть смущаясь, то в последнее время её лицо было бледно, а на губах блуждала растерянная улыбка. Рома стал даже побаиваться выходить лишний раз из дому, чтобы не столкнуться с Сонькой. А прежде чем выйти, долго осматривал улицу из-за калитки, выходя же, озирался по сторонам.

– Чего это ты, как тать, крадёшься? – сказал ему однажды отец, заметив странное поведение сына. – Нашкодил, что ли, чего?

– Скажешь тоже, – смущённо огрызнулся Рома, – нашкодил..., что я сопляк какой, – и выскочил за калитку.

– Ты поговори мне! – крикнул вдогонку отец, – тоже мне взрослый! В штанах, видать, уже созрело, а в голове ещё не сеяли...

А вскоре случилось и то, чего Рома опасался больше всего – про Сонькин интерес к нему прознала Алёна. Да и не мудрено в городе – где всех-то жителей тысяч десять, и почти все друг друга знают.

– Что это Сонька за тобой бегаёт? – спросила однажды вечером Алёна с ходу, придя на круг и подойдя к стоящему в стороне Роме.

– Он от неожиданности смутился и ничего умнее не придумал, как отпереться.

– Кто это тебе наврал?

– Про дедушку Пихто слышал? – продолжала наступать Алёна. – Бабий телеграф передал.

– Ну и врут всё...

– А про то, что вы с Минькой Крутиковым к ней ввечеру ходили – тоже врут? А?

Рома молча пожал плечами.

– А ну-ка, – приказала Алёна, – погляди мне в глаза... Врут... Бесстыжий! За твоё враньё тебя Бог накажет!

– Так ты же говорила, что Его нет..., – искренне, но необдуманно брякнул Рома.

Алёна в гневе задохнулась и встряхнула так головой, что косынка сбилась назад.

– Подлец! – крикнула она звонким детским голосом и, влепив Роме пощёчину, убежала с глазами, полными слёз обиды.

Нешуточные, неюношеские страсти закрутились вокруг Романа. Впервые столкнулся он с настоящей женской ревностью, вызревшей в молоденькой девушке. Но ещё более серьёзной была страсть взрослой, опытной женщины, своевольной, развратной, привыкшей к самочинству и потаканию собственным прихотям, готовой идти на всё ради своих интересов.

И теперь Рома, раздосадованный на собственную глупость и на Алёнино недоверие, хотел возмутиться. Он собрался было серьёзно возразить отцу, но набрав воздуха, только и успел сказать:

– Ну, батя..., – но осёкся и, с изменившимся лицом, посмотрел за борт. – Тихо! Шнур повело..., – и тут же взглянув поверх плеча отца, крикнул: – Смотри!

Макаров старший оглянулся и успел увидеть, как огромная рыбина плюхнулась в воду.

– Корьш, ей-Богу, корьш, батя! – азартно крикнул младший Макаров.

– Ба-а-а-тюшки, – покачал головой отец. – Ить он, варнак, грузило со дна поднял, а оно поболее десяти фунтов!

– Гребь, батя, – командовал младший Макаров.

Грести — работа нелёгкая, но при проверке перемётов — это ещё и особое искусство. Надо всё время подгребать против течения, чтобы не тянуть шнур, и в то же время идти вперёд «по шнуру», но и не загнать его под лодку, не зацепить веслом. Отец Макаров прибавил ходу, вертя головой во все стороны. Сын крепко держал одной рукой крюк, а второй, дотянувшись и помогая себе ногой, подтянул острогу и багорец.

– Как подойдёт, – поучал с остановками, часто дыша, отец, – бей острой. Только не в башку бей, соскользнёт. Бей в хребёт, чуть сбоку, рядом с панцирем..., потому самую спину тоже не пробьёт, а багром под жабру.

Макаров-младший напряжённо всматривался в воду туда, где шнур уходил в глубину.

– Самая стремнина тут, ишь, как несёт...

– Чё ж ты хочешь, – подхватил отец, – *Йертьишь* — Землерой!

– Держи по шнуру, батя! Вниз пошёл – ко дну!

– Щас оттолкнётся и вверх хопнет! – сказал отец с опаской.

Но рыбина, видимо, давно сидела на крючке, устала и, поднявшись из глубины, встала против течения.

– Вот он, аккуратнее гребь.

Старший Макаров грёб уже, повернув голову за спину — по ходу лодки. Он видел, как поднялось из глубины чёрное тело корыша — так здесь на Иртыше называли самца стерляди, а также небольших осетров. Стерлядь в длину растёт мало, взрослые особи чуть больше полуметра, зато продолжает расти в ширину и в Иртыше могла нагулять больше тридцати килограммов.

Младший Макаров схватил острогу и багор. Багор переложил в левую руку, в которой уже держал крюк, а правой нацелил острогу. Как только корыш подошёл к лодке, он зацепил карабин за ввинченный в край борта лодки крюк и без замаха, но с силой вонзил острогу в спину рыбине рядом с острыми щитками, идущими вдоль всего хребта, и тут же цепанул её багром под морду. Макаров-старший бросил вёсла и, схватив второй багорец, подцепил рыбу за брюхо ближе к хвосту. Они мгновенно, как по команде, перекинули рыбу через борт лодки, и Макаров-старший тут же треснул её по голове обухом топорика. Корыш затих.

– Смотри, – сказал он, – второй крючок хвостом зацепил. Крепко сел, не ушёл бы. Они быстро насадили новых червей особым способом – «ёлочкой», опустили снасть в воду и только тогда глубоко вздохнули и хорошенько осмотрели рыбину.

– Во каркадил-то, – изумился младший Макаров, разглядывая чёрную колючую тушу, остроносую морду с усами, короткий костяной выступ носа. – Пуда полтора, а, батя?

– Поболе.., – деловито ответил отец, – Ну, с почином ты, Роман Романыч!

– И тебя, батя! Слава тебе, Господи!

Оба перекрестились.

– Язви ты в душу! – вдруг выругался отец. – Руку-то всю раскровянил — это я его с горячки рукой за хвост сграбастал... Ничего, рукавичку надену, – сказал он, опуская в воду, проколотую рыбьими шипами руку – Ну, давай к берегу, садись на вёсла. Поедем второй проверить...

Рома сел на вёсла, сделал несколько энергичных гребков и вдруг громко запел в такт взмахам вёсел:

Скакал казак через долину,  
Через маньчжурские края!

Эту песню принёс с войны отец, который, тут же и подхватил:

Ска-а-кал казак через долину,  
Через маньчжурские края!

Эх, Любаша, Любаша, Любушка моя!  
Если любишь – поцелуешь, милая моя!

И так каждый день часа по три, да ещё подготовка, да ремонт снастей. Потому что стерляжья пора короткая — ещё неделя, чуть больше, и выпадет мотыль. Весь прибрежный песок и воду покроеет белёсый пушок — трепещущие крылышки насекомых. Этот день — самый пик. Если не проворонишь, можно на закидушки небольших стерлядей натаскать. Берёшь мотыля прямо из-под ног, насаживаешь пучком и только успевай вытягивать. А потом всё. Уже на следующий день рыба словно вымерла. Ободревшись мотыля, она уходит вглубь, сытая, отяжелевшая. Теперь ей твоя приманка ни к чему. С этого дня до осени корма в реке полно. А осенью опять... Но Макаров-старший осеннюю рыбалку не любил — холодно, пасмурно, дожди опять же, ветер пронизывающий. В Иртыше после Ильина дня купаться не принято — вода в одночасье становится студёной. Иной раз и на воздухе, на берегу — на высотке, даже припекает, а к воде спустишься — стынуть начинаешь. Бывает, конечно, кто раздухарится или после бани — в реку, или спьяну, но это редко, не принято так. А после бани — и так круглый год, баньки и ставят поближе к берегу.

Словом, старший Макаров, как мужчина серьёзный и основательный, рыбачит только пару недель в году. Младший же, так и всё лето до холодов. Прихватит с собой братьев-погод-

ков — восемь и семь лет, Тишку и Оську, и на удочки таскают чебаков<sup>16</sup> да ершей, а то и судачков на живца — на малька. На уху всегда спроворят. А то и на жарёху. Опять же — коту всегда перепадает. Тот уже давно их ущучил. Они только за удочки, кот уже тут: мур-р, и за ними следом, как собачонка, бежит на берег. Сядет у ведра и ждёт, когда мелочёвку ему кинут. Глаза сощурит, шерсть распушит — пушистый кот, сибирский, сидит и ждёт. А натрескается рыбки и домой отбывает — серьёзный кот, самостоятельный.

А когда баржи приходят — разгружаются-грузятся, младший Макаров бежит на пристань подработать.

Старший же Макаров с середины июня собирал инструмент и ходил полтора-два месяца по деревням с побывками домой на сенокос по заказам, заявленным ещё с зимы, клал-перекладывал печи, в основном русские с лежанкой, с подом, с шестком. А возвращался — занимался хозяйством, клал печи в городе. По-городскому, уже больше на новый лад — с чугунными плитами для приготовления пищи, голландки, камины. А с глубокой осени до весны делал лодки. Тут и младший Роман ему пособлял, учился делу. Теперь, конечно, строительство в Таре не то, что раньше, когда была она чайной столицей Сибири. И если старший Макаров надеялся прожить как-нибудь, то младший намеревался уехать со временем в Омск, где теперь стройки шли полным ходом, и овладеть там строительным делом, пойти учиться, стать со временем десятником.

Было у отца Макарова и ружьё. В этом крае у самой границы таёжных лесов, где обширные степи сменяются урманами<sup>17</sup>, а береза, осина, ива соседствуют с елью, лиственницей, сосной, местами на увалах<sup>18</sup> поднимаются стены густо пахнущих смолой пихтачей да синеют шапки кряжистых кедров — редко кто не охотился. По осени иной раз Макаров ходил и на утку — на озёра. Но стрелял дичь неохотно, не любил выстрелов — на войне настрелялся. Ещё тогда, когда пришёл домой с Японской войны, Роман Макаров год целый не причащался — батюшка не велел. «Ты, — говорит, — поговей, — исповедуйся, а к причастию пока не ходи. Очиститься надо. Всё ж хоть и святое дело — державу оборонять, но кровь ведь на тебе человеческая... Отмякни душой.

\* \* \*

В это лето Макаров вернулся с заработков необычно рано — в середине июля. А причина была самая несурзная — заказы, поступившие с зимы, отменились. С каким-то непонятным недовольством встретил его мужик-хозяин, что собирался ещё зимой печь переключивать.

— В чём дело-то? — допытывался Макаров.

— А ты не слыхал, чай? Старца нашего, что в столицу ходатаем был, баба ножом пырнула.

— Какого старца? — не понял Макаров.

— Григория-старца из Покровского, с Туры.

— А кто ж его?

— Так говорят же те — баба, Гусева какая-то, Хиония кабыть. Не наша баба, приезжая...

— Ну вот — огород! — раздосадовал Макаров, — Что ж из-за бабы теперь печи не класть?

— А то, что не время затеваться..., — заключил хмурый мужик-хозяин и отказался от ремонта печи.

Но подзаработал Макаров неплохо, конечно, да ещё ведь заказы были, но что-то настроение пропало, отдохнуть захотелось что ли, по своим ли соскучился. Пришёл на радость Устинье

<sup>16</sup> Чеба́к (сибирская плотва), рыба семейства карповых

<sup>17</sup> (татарск. ) Темнохвойный лес на приречных участках таежной зоны Западной и Средней Сибири (с преобладанием пихты, кедра, ели).

<sup>18</sup> возвышенности на севере Западной Сибири.

и младшим ребяташкам, принёс гостинцев всем. Растопил баню, попарился, решил отлежаться день-другой, передохнуть малость. На следующее утро в воскресенье пошли всей семьёй в церковь – ту, что ближе, расположенную недалеко от Иртыша, в подгорье на Немчиновской улице. Небольшая кирпичная церковь в форме корабля<sup>19</sup> с восьмигранным куполом, во имя Богородицы Казанской, построенная когда-то на средства купцов Нерпиных.

Тара – старинный сибирский город. Богатый, купеческий, со своими производствами. Кроме многочисленных церквей, шесть больших каменных соборов, построенных на купеческие деньги, стояли по берегу реки, но не Иртыша. Первоначально Тара строилась не вдоль Иртыша, где была излучина, и не вдоль реки Тары, где низинное, топкое место, а вдоль впадающей в Иртыш речки Аркарки. Была в Таре и своя мечеть, тоже стоявшая рядом с православными храмами, на берегу реки. Были и костёл, и синагога. На центральной площади города выстроен гостинный двор, где продавались необходимые для жизни товары. Добротные деревянные дома стояли на больших улицах преимущественно двухэтажные, и выделялись каменные, купцов Нерпиных, Немчинова, торговый дом купца Балыкова, изящной деревянной архитектуры дом купца Носкова, купцов Пятковых, Канаревского, Рамма... Первую партию – десять пудов невиданного доселе в России чая в 1659 году привёз уроженец Тары боярский сын Иван Перфильев. Привёз на пробу — как понравится, как приживется... После этого чай из Китая пошёл по Великому чайному пути, в центре которого оказалась Тара, а после основания и перенесения туда Московско-Сибирского тракта – Омск. Здесь чайный поток раздваивался: на Москву и северную Европу — одна ветка, другая – через Казахстан на юг. Теперь чайная торговля поутихла. С прошлого века чай стали возить по морю, напрямую.

Храмы в Таре все каменные, высокие просторные, строгие – богатством не блещут, но иконы все старого письма – восемнадцатого века. Ещё в допетровские времена бежали в Сибирь староверы, спасаясь от церковных реформ, чтоб сохранить вековой уклад жизни. Не меньше бежали и во времена Петра I. Поборники старого благочестия вносили в общественную жизнь строгость и чистоту нравов, хотя и жили отдельно и в общественной, да и в церковной жизни не участвовали, в общую церковь не ходили, жили в скитах. Но к церкви здесь все относились серьёзно, строго, не допуская не только новшеств, но даже малейших послаблений и компромиссов — из года в год ревностно исполнялось всё, что было заведено когда-то. Ещё и теперь в Таре жива память о «Тарском бунте», инициаторами которого были старообрядцы.

В 1722 году в здешних местах началось восстание крестьян и сибирских казаков. Главными зачинщиками были расположенные близ Тары старообрядческие скиты Ивана Смирнова, Гаврилы Украинцева, Сергиевская пустынь во главе со старцем Сергием и прочие, для кого древнее благочестие было дороже самой жизни. Причиной стало двойное усиление налогового гнета на староверов по сравнению с никонианами и подушная перепись скитского населения, состоявшего из беглых крестьян. Вначале в связи с этим случилось несколько самосожжений старообрядцев. А поводом к восстанию в Таре послужил указ от 5 февраля 1722 года, согласно которому правящий император может по своей воле назначить себе любого наследника. Российские подданные должны были немедленно присягнуть этому будущему, но не названному наследнику. По Руси распространялись слухи о присяге самому антихристу...

Из Тобольска отправили большой военный отряд Санкт-Петербургского и Московского полков под командованием полковника Батасова. 14 июня отряд подошел к Таре и без сопротивления занял город. Немедленно начались аресты и допросы. Все выходы из города закрыли. По всей Западной Сибири посылались из Тары отряды для поимки беглецов и разгрома скитов. По указу сената для ведения следствия создали специальную Тарскую канцелярию розыскных дел. Один из главных идеологов противления – старец Сергей – был четвертован. Попытка захвата скита другого руководителя бунта Ивана Смирнова закончилась большим самосожже-

<sup>19</sup> Древнейший тип храмов

нием. Многих казаков и скитских старцев казнили: повесили, колесовали, четвертовали и посадили на кол. Сотни захваченных в скитах казаков и крестьян, включая беглых, были сечены кнутом и «обращены» в православие с определением на место жительства. В ходе розыска были разгромлены многие старообрядческие центры. В декабре 1725 года, со вступлением на престол Екатерины I, объявили амнистию для находившихся под следствием по тарскому делу. Амнистии подлежали лишь согласные принять присягу. Сибирская губернская канцелярия добавила еще одно условие – «обращение» в православие. На деле, нередко православных, придерживающихся старых традиций, заставляли принять новые, введенные при патриархе Никоне, в том числе и троеперстие... Но, подавив движение, власти вынуждены были пойти на уступки: запись старообрядцев для уплаты двойного подушного налога была надолго приостановлена.

В силу этих обстоятельств отношения сибиряков с верховной властью были весьма непростые. Во всяком случае, доверительными их не назовёшь.

\* \* \*

Макаровы собирались степенно, основательно. Роман Романович надел сюртук, хотя и короткополый, но впрочем, в европейской части России вышедший уже из употребления, уступивший место двубортному пиджаку; брюки синего сукна не штиглицкого<sup>20</sup>, конечно, которое шло в основном на военные мундиры, но тоже тонкого и прочного; намазанные ещё с вечера свиным топлёным жиром, смешанным с сажей, яловые сапоги, картуз. Старший сын в отцовской жилетке, по-модному в чёрных штиблетах на резинке, с цельной головкой носка, какие носили в европейской России в основном военврачи и военные чиновники, картуз с заломом назад и наклоном на левое ухо. Тишка и Оська в красных атласных рубашках, подпоясанных витыми поясками. Устинья в кашемировой кофте цвета бордо и широкой ситцевой чёрной юбке, которые надевала по торжественным случаям, если случались они в пору беременности.

С раннего утра по улицам таскался бродячий торговец-китаец, шаркая башмаками по утопанной, потрескавшейся пыльной дороге, тревожа дремавших в дорожной пыли кур, с тележкой, полной экзотических товаров: китайский чай, кашемировые и шёлковые платки, табак, веера, заколки, зонтики с бамбуковыми ручками. Кричал нараспев, предлагая товар:

– Та-ва-а-ля! Та-ва-ля! Разни тава-а-ля!

Для здешних мест китайцы были не редкость. В Омске — опорном пункте транссибирской магистрали — китайцы встречались на каждом шагу, особенно летом наезжали уличные торговцы. Иные по Иртышу добирались и до Тары, приторговывая в пути на речных пристанях. Распродав весь товар к зиме, уезжали на пароходе в Омск, а оттуда домой за товаром и возвращались с наступлением тепла. Иные оседали, ассимилировались, заводили семью, но очень часто спивались, если не принимали православной веры.

Народ шествовал в церковь степенно, здороваясь друг с другом, нарядные все — в таких случаях старались лицом в грязь не ударить, хотя и лежала она повсюду, а в сухую погоду, как нынче — пыль по колено. Но в воскресенье надевали что поновее, поосанистее, «побогаче» — чтобы перед людьми не стыдно было. Мужчины в пинжаках со стоячим воротником и сюртуках, бабы в широких юбках и кофтах тёмного цвета, платках цветастых, но неброских. Балаганной яркости в одежде не было, скорее строгость. Только молодухи-девки в ярких кофточках розовых да голубых, белых да светлой зелени, в косынках, платках светлых кружевных, круглолицые, белые. Парни в лихо заломленных картузах — каждый во всей красе, старухи в черных платках, черных юбках, в тёмных кофтах, сверху нередко душегрейка, на ногах —

<sup>20</sup> «Штиглицкое сукно» — вид материи, известной на всю Россию, выпускавшейся Нарвской суконной мануфактурой А.Л. Штиглица с 1845г.



удобные мягкие чувяки из кожи или войлока. Ребятишки как разноцветный бисер. Девочки обязательно в платочках, в длинных – до щиколоток платьицах. Рядом с церковью – ряд церковных лавок. Покупают свечи, пишут записки о здравии и за упокой, идут в храм, крестятся не торопясь, без суеты ставят свечи, расходятся по местам.

Церковь в Сибири отчасти отождествлялась с властью, поэтому, порой, отношение к священникам было такое: вне церкви – поп. Если с брюшком, полнотелый – эк пузо наел на даровых харчах. Если худой, постник – всё промотал, прогулял, растренькал... Не грех и пошутить и словом острым приголубить. Но стоило войти в церковь – шутки прочь, тут же – батюшка. А как беда какая – война, не дай Бог, болезни, падёж скота, пожары, тут не только что батюшка и отец родной, а ходатай перед самим Господом Богом!

Устинья подолгу не стояла — уже на сносях была. Поставила свечку перед образом Христа Вседержителя и вышла. На самом деле Устинья и обычно так поступала. Она молилась дома по старым книгам, доставшимся ей от бабки. Книги эти чудом уцелели тогда после староверческого восстания. А вот иконы старого письма, «двоеперстные», все были уничтожены. У Устиньи висел в спальне только образ святого праведного Симеона Верхотурского, чудотворца Уральского и Сибирского, почившего как раз накануне никоновских реформ в 1642 году, со свитком в руке, на котором было начертано: *«Молю васъ, братие, храните чистоту телесную и духовную»*. Через десять лет Русская православная церковь содрогнётся от нововведений, а ещё через тридцать лет в 1682 году, в Пустозёрске будут сожжены ярые защитники старой веры – протопоп Аввакум, поп Лазарь, дьякон Фёдор и инок Епифаний. В этот же год русским царём станет Пётр I, который в 1700 году, после смерти патриарха, отменит патриаршество. Именно в это время Господь явит миру пятьдесят лет пролежавшие в земле забытые и неизвестные, честные нетленные мощи Симеона Верхотурского как напоминание о древнем благочестии, для укрепления веры и поддержания людей в их подвигах.

Древняя вера передавалась из поколения в поколение. Её-то и унаследовала Устинья от своих родителей. В церковь на всю службу она ходила только на Пасху – на исповедь и ко Причастию. Остальное время молилась дома, да ходила к старцу Гавриле на скит, затерянный в урмане среди болот, к которому и дороги-то не было, а вела лишь едва заметная тропа. Да там и жило-то всего три насельника, а пришлых, как правило, не принимали, чтобы не раздражать власти.

Роман Макаров не осуждал такое поведение жены, тем более, что детям Устинья строго-настрого наказывала в церковь ходить и батюшек слушать, чтобы не выросли неслухами. Разногласий между супругами на этой почве не было, хотя подросшие сыновья иной раз с недоумением смотрели на это, но молчали, не смея родителей осуждать и обсуждать их поступки – так было не принято. Первое время после свадьбы Макаров пытался спорить с женой, хотел докопаться до правды.

– Как же, Рома, не верить книгам? – отвечала Устинья. – Вот молитву ты читаешь честному Кресту: «...и даровавшего нам тебе, Крест Свой честный», – как это понимать «нам тебе»?

– Бог его знает, Устя, не нашего ума это дело...

– А вот в старых-то книгах пишется: «...и даровавшего *нам* Крест Свой честный».

– Ну, ты всё умом берёшь, от ума. А молитва должна через сердце идти.

– Да вот сердце-то и не приемлет...

Роман с детьми стояли всю службу — тихо, благоговейно молились, пели молитвы.

Хор затянул «Иже Херувимы». Этот момент всегда действовал на Макарова особым образом. Сердце замирало в груди, а по телу бежал какой-то щекочущий холодок, словно вот сейчас происходит в жизни что-то важное, главное. И сегодня он особенно, как никогда, испытывал некий трепет, почувствовал неожиданно радость, а потом боль и жалость ко всем, кто стоял вокруг. Испуг какой-то за то, что всё это могло вдруг куда-то подеваться, вся святая русская

церковь, девятьсот лет стоявшая нерушимой стеной. У него даже слёзы навернулись на глаза. И он ещё некоторое время испытывал благодать и отрешённость от земного мира.

Вышел протоиерей со Святыми Дарами:

– Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Ещё верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя...!

Кто был на исповеди, подходили к Причастию, вкушали Тело и Кровь Христову, запивали теплотой. Вначале несли младенцев, шли детишки малые, потом степенно подходили мужчины и юноши, за ними бабы и девки.

– Те-е-ло Христово при-и-и-ми-и-те...! – звонко тянули бабьи голоса, возносясь под самый купол, в самое Царствие Небесное.

Макаров украдкой оглянулся и осторожно промокнул платком глаза. «Старею, что ли? – подумал он с лёгкой досадой, – вот ещё нюни распустил...». Он незаметно взглянул на своего старшего и с удивлением заметил, что тот косится на девок, стоящих кучкой слева от алтаря. «Эк жеребец... Молодость — здоровья через край, а в голове ветер». Но тут вспомнил он, как ещё до войны молодым парнем ходил с родителями в их деревенскую церковь, как тоже, напуская на себя беспечный вид, тщательно принаряжался и украдкой глядел, какое впечатление производит на молодых девушек, перехватывая их быстрые, неуловимые взгляды...

Роман Макаров с родителями жил в деревне. Здесь же жила семья Ладиных, у которых, кроме трёх сыновей, было две дочки. Одна из них Устинья – младше Романа на два года. Её-то и заприметил Роман Макаров. Роман тоже понравился Устинье, так что когда дело дошло до сватовства, оставалось только обговорить их дальнейшую жизнь. Родители и Романа, и Устиньи были достатка среднего: по четыре-пять коров, быки, две лошади, овцы, птица. Торговали скотиной, зимой возили мясо в Омск на рынок – там можно было сдать повыгоднее. Поставляли сало, мёд. После свадьбы родители совместно продали часть скота, ещё кое-чего. Совместно справили молодым дом в городе, куда те захотели перебраться – поближе к заработкам, к культуре. Помогли наладить хозяйство. Роман и Устинья, воспитанные на сельском труде, взялись хозяйствовать основательно, слушая родительского совета, и всё у них шло – слава Богу.

Макаров-младший на самом деле не просто глазел на девушек. Такого в церкви он себе и не позволил бы. Он лишь искоса бросал осторожные взгляды на стоящую среди прочих Алёну, с которой они вот уже больше двух недель не встречались. Раньше Алёна хоть и становилась отдельно, но старалась встать поближе к Роме. Теперь же она уходила подальше от него, под самые образа, где он едва мог видеть её среди остальных.

Смысл проповеди батюшки смутно доходил до Макарова. Она несла тревогу и предостережение – природу которых Макаров никак не мог уловить. Священник говорил о величии державы Российской, о её верности Православию. О том, что, возможно, выпадут на её долю испытания, к которым нужно всем быть готовым и что в последнее время множество лже-пророков и лже-пастырей смущают умы, соблазняют души. «Пусть их, – думал Макаров, – Мелют пустомели... Язык без костей. А мы как жили, так и жить будем. Нам до них дела нет, а сунутся...»

– «Берегитесь закваски фарисейской», – говорил Господь наш Иисус Христос, – вещал батюшка. – Имея в виду то внешнее благочиние, которым прикрывались иудеи, но за которыми скрывались дела неугодные Богу. Ложь и лицемерие, маскирующие благовидностью дьявольский соблазн – вот чего пуще всего надо опасаться! Держитесь, братья и сестры, Православной веры – в ней вся сила державы Российской, в ней вся правда, вся соль Русской земли...

Народ пошёл целовать крест и выходить из церкви. Макаров от души помолился, но тревога, сквозившая в проповеди, зацепила его за краешек души и не давала теперь покоя, норовя омрачить праздничный день. Макаров вышел на воздух, ведя за руку Оську (Тишку вёл млад-

ший Роман), обернулся, трижды осенил себя крестом, трижды поклонился. В это время раздался клик, который Макаров поначалу принял за птичий:

– И-и, и-и! – причитал кто-то. А потом гортанный клопочущий крик: – А-а-а! Вот он!

Макаров не сразу нашел глазами того, кто кричал – городской дурачок Кирюша валялся в пыли и, вскакивая на колени, подняв руку вверх, показывал пальцем. Кирюша – сумасшедший нищий. Жил круглый год подаянием, сидел на паперти, летом шлялся по кладбищу, питался тем, что оставляют на могилах, спал между холмиками. Зимой грелся у церковного сторожа или в кочегарке общественной бани. К нему относились спокойно. Мальчишкам строго-настрого запрещалось над ним смеяться или дразнить его. За это иной родитель мог выпороть, Старушки считали его блаженным и даже порой ходили к нему за советом или «спытать» судьбу.

– Вот он, вот он! – кричал Кирюша и заливался холодящим душу смехом.

Таким его видели очень редко. Последний раз Кирюша ходил по улицам и громко восклицал в 1911 году: – На заклание агнца отдали! Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит!

Странно это было слышать, он ведь раньше-то не ходил, не возглашал. «Да пусть себе, – решили миряне, – ходит расслабленный умом, молитвы читает – может, ему легче от этого». Потом разнеслась по всей России весть об убийстве Столыпина. Тогда эти два события никто не связал, где Кирюша, а где Столыпин, где Сибирь, а где Киев, Москва! Но душа не логикой живёт. Чувствует она, *предчувствует*. Тогда в мыслях не сошлось, а в душе соединилось. И вот теперь снова Кирюша кричал и хихикал на всю площадь:

– Х-и-и, хи-и-и! Вот он!

– Что ты, милой? – обратилась к нему сухонькая древняя старушка.

– Вон-а, вон-а! – Кирюша снова ткнул пальцем куда-то вверх!

– Чтой-то там увидел-то? – старуха поглядела, туда, куда тыкал Кирюша, но ничего не увидела. – Что там?

– Му-у-уззык на куполе, – захлёбываясь и булькая, брызгая слюной, говорил Кирюша. – Музыка на куполе, музык с рлогами на башке.

– Где, где мужик, касатик? – пыталась понять старуха.

– К крлесту ерёвку вяжет, крлест с целкви сорвать хоче-ет!

– Что ты! Господь с тобой, – забормотала старуха, – никого там нет, что ты! Привиделось, касатик. – И она пошла скорее прочь.

Сын Роман тронул отца за рукав:

– Так он, тять, уже вот месяц так воет – как народ в церкви-то соберётся. Вот как австрияка этого убили, так и начал он в аккурат.

– Какого австрияка? – насторожился Макаров, – где убили?

– Не слышал нечего? – удивился сын, – Ну, у этих, как их...

– В Сербии, – раздался чей-то голос.

Макаров повернулся, увидел своего младшего брата Силантия – Ромкиного и Тишкиного с Оськой дядю и крёстного. Силантий был такой же высокий, как и брат, только узковат в плечах и при ходьбе слегка сутулился. Он давно перебрался в Омск, выучился вначале на помощника, а потом на машиниста паровоза и работал на железной дороге – водил поезда по транссибирской магистрали.

– Здорово! – Удивился Макаров. – Ты какими судьбами?

– Вот – приехал повидаться – с тобой, с родителями, а то времени, может, больше не будет...

– Да чё случилось-то, скажешь, наконец? – начал терять терпение Макаров.

– Да ты и впрямь не слышал? – удивился Силантий. – Посла австрийского убили, Фердинанда...

– Не слышал, – растерянно подтвердил Макаров, – я ж больше месяца всё по деревням. Я про старца слышал, про Григория, – спохватился он.

– Старца – это на днях было, – подтвердил Силантий, – Так то старца..., а это герцог!

– А где убили-то?

– В Сербии. Нас, машинистов, мобилизуют, грузы возить... специальные. Больше сказать не могу, – развёл Силантий руками, – извини. «Калган» есть – сам допетришь...

Кирюша-дурачок ещё раз ткнулся головой в пыль, привлекая всеобщее внимание, и пополз в сторону, пока не добрался до поросшей травой канавы возле забора. Тут он забился в траву и затих.

Силантий, сославшись на нехватку времени, быстро попрощался и ушёл. Люди расходились, пожимая плечами. Кто-то улыбался... Но настроение у всех испортилось. Батюшка в церкви о чём-то предупреждал – ну это, как водится, батюшка, как отец – должен строгость держать, иначе порядка не будет. А вот дурачок этот блажной... Мало ли чего накличет. И восьми лет не прошло, как мужики в Саратове смуту чинили. А потом то убьют кого, то взорвут. Никак покою нет. Все ждали чего-то: кто беды, кто беспорядков, кто перемен к лучшему. Но все очень смутно представляли своё будущее – если что-либо случится. Так – догадки да беспочвенные надежды.

Чтобы развеять неприятные впечатления, Макаров с ребяташками спустился под гору, где располагался городской рынок. Походил между прилавков с глиняными горшками с жёлтой сибирской сметаной, которую в холодное время резали ножом, кринками со сливками и торчащими из них черпаками. Сливки не лились, их надо было накладывать. Малосольные и успевшие просолиться огурцы в кадках, ягоды: малина, смородина. Зелень, редиска. Торговали квасом, кислым молоком. Мешками стояли кедровые шишки – чищенные кедровые орешки продавались в лавках на вес. Между рядами ходил мальчик с большим бидоном и громко нараспев выкрикивал:

– Холодная, родниковая вода! На полушку – кружку, две копейки – досыта!

Здесь Макаровы долго не задержались – этого у них самих хватало. Так только, приценились – что почём. Спустились к воде на ярмарку. В ту пору подошла баржа с красным товаром. Как всегда, было шумно; у кого-то стоял граммофон и трубно, на всю реку – где звук разлетался на километры – наяривал сибирскую «Подгорную» – без которой и так не обходилось ни одно застолье:

Ты, Подгорна, ты, Подгорна,  
Широкая улица,  
Почему, скажи, Подгорна,  
Сердце так волнуется?

Через речку быстрюю  
Да я мосточек выстрою.  
Ходи, милый, ходи, мой, да  
Ходи летом и зимой...

В каком сибирском городе не было Подгорной улицы! Была она и в Таре. Одна-единственная, мощённая деревянным настилом. Но не потому, что была важнейшей улицей, а потому, что была самой грязной и сырой, располагавшейся в болотистой и мокрой низине. В пору весенних паводков или осенних дождей превращающейся в сырые болота.

Гармонь с балалайкой журчали и переливались, как родниковая вода на камушках, переговаривались между собой. Два подвыпивших по поводу воскресного дня мужичка со злыми лицами откаблучивали под музыку впрыска на прибрежном песке. Народ ходил и посмеивался, уверенный в том, что к вечеру, уже изрядно перебрав, плясуны непременно затеют свару.

Купили монастырского медку, Тишке и Оське обутку на осень – сапожки, Устинье шаль пуховую на зиму. И пошли не спеша домой.

Весь понедельник Макаров старший ходил по двору, оценивал состояние хозяйства, смотрел, чем в первую очередь заняться – а в сущности отдыхал. Ну воды там принёс, у скотины почистил, корму задал. Вторник – тоже прошёл в суете, в мелочах. Но спать не хотелось рано ложиться, настроение было маетное, на сердце беспокойно, а причины нет. Зажгли лампу, уложив младших, сидели с Устиньей, беседовали, обсуждали, вспоминали жизнь прошлую, посмеиваясь над собой – будто им уже пришла пора вспоминать прожитое, словно старикам. Ромка, как всегда, где-то хороводился со сверстниками – дело молодое. Устинья вдруг ни с того не с сего завела:

– Боюсь я, Ром, как бы беды не было.

– Что ты, прости Господи, – вздохнул Роман, – опять предчувствия?

– А и не предчувствия... Вон старца святого ножом зарезали.

– Да не зарезали, а пырнули только, – досадливо поправил Макаров. – Да и святой уж... Святые – это уж потом, как Господь даст. А про этого много чего говорят...

– А то от зависти, – решительно возразила Устинья. От он как в столицу стал хож, к Царю нашу нужду донёс, так бесы и закрутились возле. И вот ещё немца этого австрийского убили...

– Так не мы ж убили, а где-то там...

– А я чувю – неладно будет, покачала головой Устинья, – Чует сердце – лихие времена наступают. Как бы не конец света, а?

– Ну вот, ты знаешь! – не выдержал Макаров и, подняв руку, чуть не хлопнул по столу.

Ближе к полуночи – время для здешних мест позднее, скрипнула калитка.

– Ромка идёт, – насторожилась Устинья.

Макаров хитро улыбнулся:

– Чего-то рано сегодня.

Но уже через мгновение они поняли, что это не сын. Не слышно было привычной твёрдой поступи с гулким пристукиванием сапог. В сенцах раздались семенящие шажки, шелест юбки.

– Кого это ещё несёт, на ночь глядя?

Дверь скрипнув, отворилась. Устинья бросила взгляд на ребятишек – спят, не чувят.

Осторожно ступая, вошла соседка Нюра, перекрестилась на образа. Лицо не то испуганное, не то удивлённое. Начала полусёпотом:

– А я, смотрю, свет у вас, калитка не заперта – я и вошла. А то мне и поделиться не с кем, чего, говорю, делается-то...

– Проходи, садись, – негромко пригласил Макаров. – Что там у тебя случилось?

– Ой, батюшки, так вот квантиранта-то моего, немца, что пятого дня комнату у меня снял, как бишь его... этого... Франца-то заарестовали.

– Чего ты городишь-то? – махнула рукой Устинья.

– Вот те крест, – выпучила глаза Нюра, – леворверт нашли заряжаной, хвонарь – чтоб светить, письма какие-то. Шпиён говорят – вот как.

Макаровы досадливо переглянулись. Они знали, что Нюра любит бегать и разносить разные небылицы. Сами несколько раз ловились на её рассказы.

– Ты говори толком, – сказал Макаров, – кто арестовал?

– Известно хто! – Нюра подняла вверх палец. – Жамдарны!

– Ну, а чего вдруг, нашкодил, что ли?

– Ой, милые, – Нюра быстро перевела взгляд с Романа на Устинью, опять на Романа, – так ведь война, с ерманцем...

### 3

*На твой призывный клич,  
Отчизна дорогая,  
Иду, как верный сын,  
Любовию горя...  
Коль нужно – жизнь отдам,  
тебя благословляя,  
За счастье твоё,  
за Веру и Царя!*  
(«Призыв» П. Горлецкий, 1914 г.)

И взволновалась Россия, как волнуются пшеничные да ржаные поля, полные спелых колосьев, от налетевшего на них ветра. Вновь оторвали русского мужика от его хозяйства, от дома, от жены, от детей. Оторвали от мирного труда, от земли-кормилицы, дали в руки винтовку и отправили на военную страду...

*«Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого..»*

Так сказано в Евангелии от Матфея. Отечественная война, как объявили войну 1914 года, началась в России с изгнания из русского «дома» злого духа – пьянства. Изданный государем указ о запрещении производства и продажи всех видов алкоголя на всей территории России, пожалуй, даже опередил приказ о мобилизации. Торговля алкогольными изделиями была прекращена с 19 июля 1914 года, в соответствии с заранее обусловленной (в мае того же года) нормой – на время мобилизации, а в конце августа продлена на всё время войны. Вопреки прогнозам скептиков русская общественность встретила указ с повсеместным одобрением. Правительство и лично Николай II засыпали благодарственными письмами и телеграммами. Крепкие алкогольные напитки продавали только в ресторанах и специальных питейных заведениях для состоятельных классов. Не воспрещалась продажа церковного вина в храмах. И хотя в ответ на указ появились многочисленные способы обхода закона, душевое потребление алкоголя снизилось более чем в десять раз. Исследования, проведённые фабрикантами и заводчиками, показали, что уже на следующий 1915 год производительность труда повысилась на 9–13 %, а прогулы на 27–43 % снизились. Резко снизилось количество психических больных на почве пьянства, сократилось число преступлений. Нельзя, однако, не упомянуть, что винокуры и пивовары получили от правительства соответствующую компенсацию за отнятые прибыли, и делалось это за счёт населения. Для виноторговцев же ещё в декабре 1916 года министерство финансов в очередной раз продлило на полгода право торговли винами довоенного производства. Питейный капитал и в годы «сухого закона» получал миллионные прибыли... Что же – за трезвость, как и за пьянство, пришлось платить. Тут вопрос – что дороже? И так – дом русской души был выметен и чист, и но оставался пустым...

В первую очередь призвали весь запас – тех, кто служил последние пятнадцать лет. В первый же месяц собрали почти три с половиной миллиона солдат. В первую мобилизацию попал и Роман Макаров-старший. Правда, после медицинского осмотра его в строевую часть не взяли из-за прошлых ранений, но отправили на фронт санитаром.

Скрипнул российский воз, дёрнулся и, кряхтя, раскачиваясь, покатился вперёд, набирая скорость. Объявленная мобилизация была встречена со всенародным духовным подъёмом. И, на удивление, не только её противников, но и сторонников – проходила относительно быстро и

успешно. И потянулись на запад эшелоны с людьми, пушками и снарядами, сеном, лошадьми, мукой, провиантом, медикаментами и прочим довольствием. Как водится, – с шумом, криком, переходящим в ругань, неразберихой, воровством в местах передвижения и формирования воинских частей. С путаницей в названиях подразделений, полков, назначений места расположения, с потерей командиров, которые подчас оказывались скорее чиновниками, сделавшими карьеру в мирное время, нежели боевыми офицерами, и требовали безотлагательной замены, но всё же с неудержимым и неизбежным выдвижением в сторону противника. Местные власти с нуля отстраивали помещения для временного и постоянного размещения мобилизованных, столовые, пункты питания, вещевые и продовольственные склады, стойла для лошадей.

В Омске для размещения нижних чинов и ополченцев выделялись помещения общественных учреждений: 1-я и 2-я мужские гимназии, 1-я женская гимназия, епархиальное училище, коммерческое училище и даже отстроенный девять лет назад городской театр. Сюда везли сено для лежанок, дрова, керосин... Здесь формировались части и отправлялись на фронт.

Макаров в составе полевого лазарета был отправлен в Восточную Пруссию в армию под командованием генерала Ранненкамппа, где шло быстро подготовленное наступление двух армий (второй армией командовал генерал Самсонов), в обход Мазурских озёр, для отвлечения германских сил из Франции, для спасения Парижа.

План наступления на данном участке начали разрабатывать ещё в 1912 году. Но всё равно случилось неожиданное: мощная группировка германских войск отбросила бельгийскую армию и вторглась во Францию. Французы и высадившийся на северном побережье Франции английский корпус под напором превосходящих сил противника вынуждены были отойти. Германская армия двинулась на Париж. Император Вильгельм призывал своих солдат быть беспощадными к врагам и обещал им осенью покончить с Францией. Над Францией нависла смертельная опасность. Французское правительство временно покинуло столицу... Для спасения союзников русские армии ускорили подготовку наступления и начали его при неполном развёртывании всех своих сил, без штатного укомплектования войск продовольствием и боеприпасами. Эта поспешность сказалась в целом на ведении боевых действий, как со стороны русской армии, так и со стороны немцев, и легла всей тяжестью на плечи русских солдат. Начало наступления, тем не менее, было удачным. Уже через неделю немцам был нанесен сокрушительный удар в ходе Гумбинен-Гольдапского сражения, после которого немецкая армия начала отступать.

Следующим за армиями обозам, формируемым уже в ходе сражений, всё время приходилось догонять наступающую армию. По количеству людей, прибывших на фронт, запасам продовольствия, лошадей, артиллерии и боеприпасов Макаров сразу же отметил необычность предстоящей войны. Казалось, пол-России надело солдатские шинели, остальная половина – белые косынки и белые повязки с крестом. Таких масштабов, такого количества людских и материальных ресурсов, сосредоточенных только на одном направлении, он никогда не видел. А ведь одновременно с этим происходило успешное наступление 3-й и 8-й армий юго-западного фронта против австро-венгерских войск. В районе Варшавы и Новогеоргиевска сосредотачивались силы для нанесения главного стратегического удара по Берлину.

То же отмечали и другие солдаты и даже командиры. Войну приходилось воспринимать и осмысливать заново, и не только из-за появившихся новых образцов военной техники, но в первую очередь – из-за небывалых масштабов. К тому же, в отличие от диких равнин и сопот Маньчжурии и Китая, здесь бои велись в населённых районах, и потому местное население, полиция, жандармерия, егеря и прочие нередко становились участниками боевых действий. Даже те, кто раньше уже воевал, первое время находились под впечатлением от увиденного: бесконечные километры изрытой окопами и перепаханной артиллерией, вывернутой наизнанку, исходящей паром земли, пропитанной отходами жизнедеятельности тысяч людей



и животных; поначалу вызывающие удивления километры проволочных заграждений; разрушенные строения; скелетоподобные остовы зданий, обгоревшие деревья со срезанными осколками верхушками и ветвями; разбитые и брошенные по обочинам дорог повозки, орудия, обгоревшая амуниция, обрывки конской упряжи; многочисленные кладбища, утыканные свежими деревянными крестами, сотни раненых... И от всего этого исходит особый неистребимый запах войны – дух гниения, разложения, смерти, экскрементов, едкого человеческого пота – вырабатываемого телом в экстремальных условиях, при чрезмерных нагрузках, которые в обычной мирной жизни кажутся смертельными, а здесь составляют ежедневную норму – называемую солдатской работой.

Местные жители, разagitированные властями, покидали свои жилища и бежали от наступающих русских войск. Немецкие агитационные плакаты изображали бородатых русских казаков с окровавленными клыками, как у упырей, пожирающих детей и непременно насилующих женщин. Старинная европейская забава – выставять русских недочеловеками, извергами и дикими варварами-людоедами.

Война таких размеров и такой продолжительности была, несмотря на всю подготовку к ней, неожиданной, непривычной, так что всех нюансов, особенно бытовых, нельзя было даже заранее представить. Некоторая растерянность на первых порах, хотя военные планы уже составлялись около двух лет, всё же была, и не только среди русских войск, но и в войсках противника. Соотношение сил примерно было такое: русские имели почти двойное превосходство в пехоте и кавалерии, которую в сражении почему-то почти не использовали, к тому же русские армии были разделены, что ослабляло удар, немцы же превосходили войска союзников вдвое по количеству дальнобойной артиллерии и гаубиц больших калибров – 133мм, способных остановить шрапнелью любой натиск пехоты и накрыть живую силу противника, находящуюся за укрытием.

В первом же сражении русские всё же проявили большую доблесть, а немцы, несмотря на их хваленую пунктуальность, допустили ряд тактических промахов и создали неразбериху в собственных войсках.

В разгар Гумбинен-Гольдапского сражения, когда немцы яростно атаковали центр и левый фланг 27-й пехотной дивизии, 70-я бригада германской 36-й дивизии наступала на Маттишкемен и ввела в бой последние резервы, но не смогла продвинуться вперёд. Для ближайшей поддержки атаки две немецкие батареи выскочили карьером на открытую позицию в километре от залегших цепей русской пехоты. Немцы успели сделать только один выстрел, после чего были совершенно уничтожены огнём русских батарей 1-го дивизиона 27-й артиллерийской бригады, и ружейным и пулемётным огнём русской пехоты.

Командир роты 106-го Уфимского пехотного полка Капитан Успенский, осматривавший вечером 20 августа поле битвы, записал в своём дневнике: «...Какие картины мы здесь увидели! Общий фон поля – это словно огромный лист липкой бумаги ("смерть мухам"), усеянный трупами тысячи мух, но... это были не ничтожные мухи, а защитники своей родины и в большинстве цветущая молодежь! В каких только позах не достигла их смерть! Вот и геройский артиллерийский дивизион, расстрелянный ураганным огнем русской артиллерии. Издали некоторых из убитых офицеров и канониров его можно принять за живых, так выразительны их остекленевшие взоры и застывшие жесты и позы. Вот молодой офицер с поднятой саблей, запрокинутой головой и открытым, кричащим ртом (вероятно команду), с глазами, устремленными в небо, застыл у самого орудия! Вот солдат совершенно как живой, наполовину вставил снаряд в орудие и, с неотнятыми от него руками, стоя на коленях, вперил глаза свои с каким-то особым удивлением вверх, словно спрашивает: "в чем дело?!...Эти фигуры издали казались живыми, но когда мы подошли ближе, то увидели, что у офицера три четверти головы сзади были оторваны и осталась буквально одна маска, а у солдата

*выбит был весь живот. Очевидно, смерть была моментальная и безболезненная, поэтому и сохранилось такое живое выражение на их лицах.*

*Вот батарея, расстрелянная на самом выезде на позицию в полной запряжке, не успевшая не только открыть огонь, но и остановиться: все убитые люди и лошади дружно лежат вместе на своих местах, а солдаты лежат даже верхом на лошадях или поблизости их...*

Одна немецкая батарея смогла сделать выстрел, вторая не успела даже развернуть свои орудия.

Не воспользовались немецкие войска и стратегическим преимуществом – наличием шоссейных и железных дорог и коммуникаций, знанием местности. Это и обусловило успех русской армии.

В целом же и та и другая сторона подчас действовали интуитивно и не всегда согласованно, без точных данных разведки, придерживаясь ранее разработанных планов, переставших быть актуальными с началом боевых действий. Высшее командование проявляло крайнюю степень инертности. Русские войска были предоставлены самим себе и находились практически в распоряжении своих командиров. Сказывалось отсутствие оперативного опыта при проведении операций столь крупного масштаба и управления таким количеством подразделений, растянутых на большое расстояние. К тому же русские армии, 1-я генерала Ранненкампа и 2-я генерала Самсонова, были разделены естественной преградой – Мазурскими озёрами. Но это заранее спланированное преимущество германское командование так и не смогло реализовать на первом этапе боёв. Для наведения артиллерии у немцев была хорошо поставлена воздушная разведка: аэропланы, цеппелины, постоянно висащие в воздухе. Впрочем, немецкая авиация активно использовала ещё и бомбардировку войск противника. Вообще в этой войне у немцев проявилась характерная тенденция к созданию оружия массового уничтожения людей, позволяющего при этом не входить в контакт с противником и оставаться от него на расстоянии – это и дальнобойная артиллерия, применение тяжёлой осадной артиллерии калибров свыше 200 и даже 300 миллиметров, и 420 миллиметровой гаубичной. Активное использование пулемётов, аэропланов, а затем и газов. Однако исконное русское оружие – дубина – и здесь оказалась на высоте: русские первыми применили тяжёлые стратегические бомбардировщики на базе самолётов «Илья Муромец» русского конструктора Игоря Сикорского.

Когда русские идут в бой на авось с чётким планом действий – они непременно побеждают даже превосходящие силы противника, если же русские используют авось *вместо* плана наступления – крах неизбежен. К сожалению, русская действительность порой делает «русскими» не только таких людей, как генерал Жилинский – главнокомандующий Восточно-Прусской группировкой, но даже таких, как генерал Ранненкампф – по крови остзейских немцев. Благодушие – замечательная черта русского характера, но когда оно во время войны не к месту охватывает штаб главнокомандующего и как зараза распространяется на армейское руководство, тогда солдаты и офицеры на поле сражения платят за это реками пролитой крови. В состав 2-й армии генерала Самсонова входили пять корпусных авиаотрядов. Ещё в период развертывания войск авиаторы несли боевую службу, и с 1 августа их донесения стали использоваться штабом армии при составлении «Сводок сведений о противнике». Так, в районе Млава-Зольдау-Лаутенберг 9 и 10 августа обнаружили движение на железных и шоссейных дорогах, большие скопления войск противника на левом фланге 2-й армии в районах Доич-Эйлау, Гильденбург и Алленштейн. Однако эти очень своевременные сведения воздушной разведки были поставлены под сомнение командованием, за что вскоре пришлось поплатиться...

С начала войны русские летчики применяли аэрофотосъемку. Но в русских армиях, возглавляемых воевавшими ещё в Маньчжурии генералами, царило фатальное пренебрежение не только к технике – к аэропланам и пулемётам, но и к разведке вообще. Зато вера в кавалерию была безграничной, хотя командовал кавалерией престарелый Хан Нахичеванский, неспособ-

ный без посторонней помощи сесть в седло. Воспользоваться преимуществом кавалерии так и не смогли.

И ещё одна особенность той войны, которую Макаров тоже быстро подметил опытным глазом – это по-новому организованная работа священников. Была реорганизована и заново поставлена служба военных капелланов. Руководил этим протопресвитер армии и флота Георгий Шавельский. Если в Русско-японской войне священники исполняли более мирные функции, находясь в тылу – в основном, только служили литургии и отпевали погибших, то теперь им предписывалось быть на передовой, благословлять идущих на бой солдат, идти вслед за наступающими войсками, вдохновлять их на подвиг, поднимать боевой дух, даже подвергая риску собственную жизнь.

Впрочем, надо сказать, что батюшки и в Русско-японскую кампанию проявляли героизм. Макаров помнил подвиг священника отца Стефана<sup>21</sup>, который, дважды раненный в бою под Тюренченом, у реки Ялу, шёл вместе с офицерами впереди, пел пасхальный тропарь «Христос воскрес из мертвых» и, заменяя убитого командира, вывел из окружения солдат 11-го Восточно-сибирского стрелкового полка, держа в руках только крест. Русская армия и тогда дралась храбро. Просто сам исход той войны был не героическим...

А пуля, выпущенная по скоплению солдат противника, не станет разбирать – кто из них служитель церкви, а кто солдат, не говоря уже о разрывающемся снаряде.

После начала боевых действий и с увеличением численности войск количество священников в армии увеличилось до 2000. С первых дней пребывания на фронте и даже раньше – по дороге на фронт – Макаров уже был наслышан о героическом поведении некоторых батюшек, которые осеяли солдат крестом, стоя под пулями противника, шли за ними в атаку без оружия, держа в руках только крест, и даже помогали осуществлять руководство войсками, вовремя доставляя сведения об изменении обстановки. Это живое активное участие духовенства в боевых действиях оказывало сильное положительное воздействие на боевой дух войска. Этого Макаров, у которого в памяти ещё была свежа прошлая война, не мог не отметить. Длань Божья распростёрлась над русским войском. Но трудно человеку жить по воле Божьей...

Макаров прибыл к месту службы во время паузы между двумя наступлениями, когда одно только что закончилось и следом готовилось другое. Лазареты перенесли ближе к передовой, где скопилось огромное количество раненых, и для того, чтобы во время готовящегося наступления они не отстали далеко от наступающих войск. Кругом ещё царила суэта, слышались стоны, лилась кровь. Неподалеку время от времени рвались снаряды немецкой дальнотбойной артиллерии. Немцы то ли прикрывали таким образом отход своих войск, полагая, что русские, не отдохавшие и не евшие уже несколько суток, могут с ходу кинуться вдогонку, то ли пытались оказать психологическое воздействие, то ли просто долбили с перепугу. Во всяком случае, на некоторых это действительно оказывало негативный эффект. Макарова поставили рядом с другим санитаром нарезать бинты из марли. Напарником оказался пожилой маленький сухонький священник. Рядом с ними женщина-ассистент средних лет помогала хирургу. Хирург – пожилой мужчина, то ли от нечеловеческой сосредоточенности, то ли уже от успевшей появиться привычки работал уверенно, быстро, чётко, как на конвейере. Когда разрывался очередной снаряд, вздрагивала под ногами земля, звенели инструменты на столике, в капельницах дрожал рябью физраствор, он даже не моргал, лишь поворачивал спокойное лицо к медсестре, промокавшей ему пот на лбу марлевым тампоном, и быстро, деловито давал указания: – Сквозное лёгкое – рану обработать и на перевязку... Готовьте к ампутации... Шейте... К эвакуации в госпиталь... Этот потерпит – тяжёлых в первую очередь...

Но на женщину-ассистента окружающая обстановка действовала удручающе, она заметно нервничала, вздрагивала от каждого разрыва и даже от слышавшейся вдалеке ружейной и пуле-

<sup>21</sup> Щербаковского. Событие, о котором идёт речь, произошло 18 апреля 1904 г.

мётной трескотни. Хирургу несколько раз уже приходилось повторять ей одно и то же, но делал он это без заметного раздражения. Поглядывал на неё и работавший с Макаровым священник, которого звали отец Маркелл. И вот, мельком взглянув на Макарова и как бы обращаясь к нему, но на самом деле внимательно следя за ассистенткой Марией Власьевной, отец Маркелл спросил:

– Вы откуда сами-то будете?

– С Сибири я, с Омска, – ответил Макаров.

– Сибирь..., – ласково повторил отец Маркелл, – богатый край... А мы с севера будем, из-под Каргополя.

Землица там не родит, да... Почвы у нас хилые, неплодородные, – говорил он Макарову, поглядывая на Марию Власьевну, – у нас только брюква хорошая вызревает, вот мы её, голубушку, и так, и сяк, и эдак. На зиму, бывало, сушим – режем меленько, ломтиками и как семечки, – ясно и громко объяснял он, так, что не мог не привлечь внимания ассистентки. И та действительно несколько раз уже с удивлением взглянула на него. – Репа – та неважнецкая, не успевает вызревать, – продолжал отец Маркелл, – мелкая репка, а вот редька чёрная – ничего... – Он нагнулся за новым куском марли.

– Ненормальный, что ли? – шепнула вопросительно Мария Власьевна Макарову, чуть приподняв лицевую повязку.

Макаров отрицательно покачал головой.

– Так мы вот всё на постном привыкли, – продолжил отец Маркелл, разворачивая марлю и снова глядя на Марию Власьевну. – Иногда, бывает, по праздничкам кашку елейцем приправляем. А так хлебушек да брюква, кашка да хлебушко, чайку вот – это как закон. Это нам в утешение. Так, верите ли, – сказал он так, словно сообщал нечто сенсационное, – я тут сначала, как хлебнул наваристых щей с бараньим-то салом да каши солдатской со смальцем, так, представьте, кишки мои чуть жгутом не закрутились. Ох, и помаялся я первые дни. Думал, отдам Богу душу-то, да не на поле брани, а вот те – от солдатских харчей. В таком виде и к Господу на суд – стыда-то... А теперь, вишь ты – оклемался, мечу солдатский кандёр за обе щеки, даже жирок на рёбрах образовался. И то сказать – работа у нас, иной раз таких мужиков тащить приходится, да не по одному километру. Не оставишь же героев наших умирать лютой смертью. А мы только харч потребляем, так нешто и им в таком деле малом не пособим.

И он всё продолжал говорить и говорить, делая вид, что говорит Макарову, и всё пристально вглядывался в глаза Марии Власьевны. А Макаров тоже делал вид, что слушает отца Маркелла, а сам украдкой следил за ассистенткой. И Мария Власьевна, продолжая работать, уже всю слушала священника и больше не вздрагивала даже от близко разорвавшихся снарядов, и уже спокойно и точно подавала инструмент хирургу, и руки у неё не дрожали, и на оторванные руки и ноги, на кровавые раны смотрела не то чтобы равнодушно, но по-деловому, без прежнего ужаса в глазах, без суеты и паники делала своё дело.

Их бригаду сменили поздним вечером. Макаров вышел из операционной палатки, отошёл в сторону от входа, закурил, но не мог удержаться, чтобы не вдохнуть несколько раз свежего ночного воздуха, наполненного благоуханием нагретой за день, а теперь остывающей, парящей растительности. Немцы перестали «долбить» и, по-видимому, сделали Gute Nacht. Они даже воевали по расписанию и крайне недолюбливали «варварскую» манеру русских начинать атаки ночью. От воцарившейся тишины звенело в ушах. Вымотавшиеся в наступлении солдаты спали мёртвым сном, только караульные где-то вдалеке изредка перекрикивались. Природа спала, но спала чутким сном. Было ясно, что она вокруг живёт и дышит. «Странно, – подумал Макаров. – Жизнь, похоже, не так просто вытравить. По крайней мере, человеку пока, видно, не под силу...». Послышались частые приближающиеся шаги и шуршание платья. По силуэту, различимому в свечении, пробивающемся сквозь ткань палатки, Макаров узнал Марию Власьевну.

– Это вы Макаров? – спросила она, подходя.

– Так точно, – ответил по-военному Макаров.

Он быстро вошёл в армейский быт, словно не было девяти лет мирной жизни, и чувствовал себя вполне уютно, как может чувствовать на войне солдат, который не ходит в атаку под вражеским огнём и которому самому не нужно ни в кого целиться.

– Будьте так добры – дайте огня, – попросила Мария Власьева.

Макаров чиркнул о коробок и поднёс спичку к папиросе, которую Мария Власьева держала, зажав средним и указательным пальцем, возле губ. Макаров успел разглядеть тонкие брови вразлёт, высокий гладкий лоб, изящный носик со складкой «серьёзности» на верхней части переносицы. Она закурила, сделала глубокую затяжку.

– С утра почти не курила, – пожаловалась Мария Власьева, – хирург-то наш – Фёдор Поликарпович – не курит.

А работает – сами видели, ломит за троих, ручищи – вон какие, впору подковы гнуть. – Она озорно взглянула на Макарова: – Вот уж кто обнимет, так обнимет, а..?

Макаров не столько увидел, сколько почувствовал, что Мария Власьева улыбнулась, и он тоже сдержанно улыбнулся. Он по опыту догадался, что доктор перенесла сильнейшую встряску и теперь, видимо, ей требовалось разрядиться, побалагурить, сморозить что-нибудь, сказать даже какую-нибудь непристойность. Эту особенность новичков, особенно из городских, он подметил ещё на прошлой войне. Мария Власьева курила, беззвучно затягиваясь, изящно стряхивая пепел. Даже в сумерках было видно, что это красивая статная женщина, светловолосая, выше среднего роста, с такой рельефной фигурой, которую не испортишь никакой армейской амуницией и медицинским халатом, и видно было, что она знает силу своей красоты, то впечатление, которое она производит на мужчин. Это давало ей несомненную уверенность в своих поступках.

– Забавный этот ваш старичок, – сказала она, немного помолчав.

– Отец Маркелл? – уточнил Макаров.

– Да, этот постник. А ведь он, милостивый государь, меня в чувство привёл.

Вот даже помолиться захотелось. Я, вы знаете, в детстве мечтала стать монахиней. Забавно... Маменька каждый раз в шок приходила, когда я об этом заговаривала. А выросла – вот, стала доктором... Всё-таки есть в наших этих русских старичках что-то такое... – сказала она вдруг без всякого перехода. – Не знаю, как сказать, а всё же верю, что они и исцелить могут и вообще..., совет дать что ли, рассудить что да как. Как это выходит – не знаю.

– Так молитвенники они, – спокойно рассудил Макаров, – постники большие. Хотя прожить своё он нам не из бахвальства рассказал.

– Я поняла, – подхватила его мысль Мария Власьева, – это – такой способ психологического воздействия – гипноз по-научному. Я читала, как врачу мне положено это знать.

При этих словах Макаров улыбнулся, слова образованной докторши показались ему наивными.

– Все мы молимся, – продолжала она, – в церковь ходим...

Ну вот я, например, – сколько лет училась, занимаюсь наукой, а *он*, поди, Маркелл-то ваш, едва грамоте обучен, а вот меня взял и «огладил», словно лошадь. Где всё моё образование? Я ведь несравнимо больше его знаю, больше понимаю: нервная система там, рефлексы всякие..., а?

Макаров ответил не торопясь, с расстановкой:

– Так молиться – мы все молимся – это верно, а вот веруем ли?

– А он? – откликнулась Мария Власьева.

– А он верует. Верой и спасается.

– Мда..? – Мария Власьева задумалась. – Так ведь нам, образованным людям – это как же? Мы ведь всё изучаем, препарлируем, исследуем. Нам верить на слово нельзя. Вера – это ненаучно...

– Ну вот вам и ответ, – сказал серьёзно Макаров.

– Да? – удивилась Мария Власьева, и вдруг рассмеялась, – а вы Макаров – фрукт, нет – фруктус вульгарис! Да – типичный фрукт, а? – говорила она весело.

– Как изволите, – буркнул Макаров.

– Ну, вы не обижайтесь, – Мария Власьева взяла его за плечо, – вы, я вижу, тоже не промах. Вы, судя по всему, уже служили?

– Так точно...

– И воевали?

– Так точно...

– Какой вы, «так точно, так точно». Честное слово – мне нравится эта ваша солдатская выправка, однако солдафонщиной от вас не несёт. Вы какой-то... человечный, что-ли. Ну, и как воевали?

– Два ранения, вот в санитары списан.

– Нет, я про успехи?

– А... Имею солдатского «Георгия» 1-й степени.

– Вот – я так и знала! – с каким-то даже детским восторгом констатировала Мария Власьева.

Я так и думала, я знакома с многими военными... офицерами. Какой-нибудь угрюмый молчун, даже застенчивый, слова из него не вытянешь, кажется серым и вообще... А глянешь на параде, о mon Dieu! – свободного места на груди нет – всё в орденах! Вы, Макаров, из тех же – из героев!

Макаров поёжился.

– Какое там. Мы приказ сполняли, присягу. Эдак каждый герой. Герой – это когда погиб, когда насмерть, а у солдата доблесть<sup>22</sup>

– А «Георгий»? – удивилась Мария Власьева.

– Что ж «Георгий»... – пробурчал Макаров. Он всё больше и больше смущался. Мария Власьева в силу своей образованности или особого темперамента вдруг возымела над ним власть и авторитет. Бабского руководства Макаров не то что не признавал, но даже не знал. А тут вдруг... Это было для него ново.

– Энта от Государя, за службу.

– Ишь вы, – опять восхитилась Мария Власьева. – Нет, Макаров, вы явно фруктус! Как это вы с женой-то, неужели так вот..., или всё же, как на фронте – вперёд, в атаку! А, Макаров? Вы слышали про наших донцов, про Кузьму Крючкова?

– М-м..? – вопросительно ответил Макаров.

– Как же, – удивилась Мария Власьева – Недавно было:

утром четверо донских казаков в районе Кальварии выехали в разведку. Ехали вначале низиной, а когда стали в гору подниматься, столкнулись с немецким разъездом. Представляете, четверо донцов, а немецких кавалеристов двадцать семь человек! Так верите-ли: немцы только завидели наших казаков, стали поворачивать коней! До чего грозны для них казаки! Только офицер немецкий, видимо, поняв, что казаков всего четверо, приказал атаковать. А наши даже не дрогнули, и, не задумываясь, кинулись на немцев. И представьте – с ходу уложили несколько человек! Однако на каждого казака набросились по несколько немецких кавалеристов. Кузьму Крючкова окружили аж одиннадцать немцев! А он только успел пересчитать всех и в атаку. Вскинул винтовку и р-раз – второпях перекосило патрон. А немец его по паль-

---

<sup>22</sup> Зап.-сиб. диалект.

цам рубанул. Тогда он выхватывает шашку – вот оружие казака, и бросается на врагов. Они его достать пытаются – ранят, да за каждую рану жизнью платятся, кто приблизился к Крюкову, тот уже с жизнью простился. Тут он и вовсе схватил немецкую пику и ею остальных и уложил, представляете? А в это время его товарищи добили других немцев. Двадцать четыре трупа немецких кавалеристов остались лежать!

Даже в сумерках было видно, как горят глаза Марии Власьевны, рассказывавшей Макарову о героизме донских казаков так, словно она и сама скакала вместе с ними в атаку. Такое восторженное отношение к войне Макаров встречал только у детей.

– Сам Крючков получил шестнадцать ран, – продолжала Мария Власьевна, – незначительных, а его лошадь одиннадцать. Шесть вёрст назад проскакали. Первого августа сам генерал Ранненкампф специально прибыл в Белую Олиту, снял с себя георгиевскую ленточку и приколот на грудь Крюкову. Представляете, Макаров?! – восторженно закончила Мария Власьевна.

– Это тот казак, что на плакате, по несколько немцев на пику насаживает? – поинтересовался Макаров.

– Да, он самый, Козьма Крючков!

– Ну, то плакат, – махнул рукой Макаров, – агитация...

– Нет, но одиннадцать немцев, – не сдавалась Мария Власьевна. – Признайтесь, Макаров, и вы из таких же героев, из русских богатырей, а?

Макаров смущённо молчал.

– Да вы женаты ли? – продолжала веселиться Мария Власьевна.

– Так точно...

– Та-а-к..., точно, – сострила Мария Власьевна, – и дети есть?

– Трое...

– Вот! – Она уже чуть ли не смеялась. – И здесь напор и натиск, а с виду... Мда..., – она вдруг задумалась, замолчала, так что Макаров даже покосился в её сторону. – А у меня муж погиб, перед самой войной..., – сказала она неожиданно, – только одного ребёнка и родила...

Макаров переступил с ноги на ногу:

– Жалко, – сказал он.

– Нет-с, не жалко, – сказала Мария Власьевна, в голосе её появилась жёсткость.

– Le mari-le cochon..., впрочем, вы же не понимаете... Подлец он был. Завёл женщину на стороне, она ребёнка от него родила. – Макаров молчал, поражённый откровением докторши. – Нет, – рассказывала Мария Власьевна, – поначалу мы жили хорошо. Я из семьи потомственных военных, дед мой был полковником, погиб в кампании 1812 года. Отец – генерал в отставке. А вот муж был товарищем прокурора. Надоела военная обстановка с детства, армейские порядки. Решила пожить «по-человечески». Я замуж вышла в восемнадцать. Жили мы замечательно, ездили по заграницам, отдыхали, жили для себя. Дочь я родила уже после двадцати пяти, пожили в своё удовольствие. Муж меня любил. И вдруг, лет пять назад, заговорил об эмансипации, о вымирании института семьи, о свободной любви – это в тридцать-то пять лет! – Макаров слушал, смущённо опустив голову. Но, видно, темнота и ему, и Марии Власьевне давала некую свободу и располагала к откровению, оттого что ни он, ни она не видели глаз друг друга. – Я воспринимала всё это, – продолжала Мария Власьевна, – как философские рассуждения нового толка, как модную теорию, как новые веяния. Я никогда не предполагала..., я, вероятно, безнадежно устарела... Он влюбился, как студентка. Какая-то из модных, суфразистка со смазливой мордашкой, дворяночка, отрекшаяся якобы от родителей. Из «милости только», как я узнала потом, принимавшая ежемесячное пособие от отца, такое, что позволяло ей быть независимой, содержать студентов, нелегальную организацию, издавать газету... Он таскался с ней повсюду. Какие-то эзотерические общества, футуристические кружки, собрания новомодных сумасшедших поэтов, организации купальщиков в голем виде. Она забере-

менела от моего... мужа, потом родила, её с сообщниками арестовали. Муж растратил казённые деньги, ему грозил суд, он запил, пьяный попал под трамвай, а может и сам бросился... – эзотерика всё допускает. Пожалуй, мне и вправду было лучше в монастырь пойти, – заключила она. – Вы знаете, в Петербурге в первые дни войны сбросили Диоскуров с кровли германского посольства, – она взглянула на Макарова и пояснила, – это такие стальные гиганты, ведущие под уздцы коней – два брата – бессмертный Кастор и смертный Полидевк, мифологические сыновья бога Зевса и Леды, сверхлюди, полубоги – такие вот символы тевтонского превосходства, исключительности немецкой расы, – она ещё раз взглянула на Макарова. – Языческие божки. Город переименовали в Петроград – на русский манер..., но почему-то «санкт» – то есть «святой», святость – пропала из названия. А может, и из города... Был град Святого Петра апостола, стал город Петра, какого? Петра Первого, того, что патриаршество упразднил? Вот теперь, говорят, в столице вся интеллигенция занимается столоверчением...

– Это как же? – полюбопытствовал Макаров.

Мария Власьева глубоко вздохнула.

– Вызывают души умерших, просят их рассказать им о будущем, хотят будущее знать, в недоумении все. Предчувствия всех одолевают.

– Грех это, – сухо сказал Макаров.

– Вот! – торжествующе подхватила Мария Власьева. – Завидую я вам, народу. Вот этой точности – раз и одним махом – грех. Всё ясно и понятно, а мы всё мудрим чего-то, мудрим, рассуждаем. С научной точки зрения – иррационально, с точки зрения тайных знаний и эзотерики – ещё не исследовано.

– Так ведь мудришь, мудришь и перемудришь, – рассудил Макаров. – Бесов вызывать, чё ж хорошего?

– Да, да, – согласилась задумчиво Мария Власьева, – да, да. Чего тут мудрить. Всё верно, бесовщина и только. И, кстати, ненаучно. Просто..., – она глубоко вздохнула. – Просто *в каждом* из нас внутри сидит *Диоскур* – гордый, надменный, не такой, как все, «выше» толпы. А потому появляется желание обойти эту копошашуюся внизу толпу, обмануть судьбу, узнать верный ход наперёд. Гордыня подняла в человеке свою змеиную голову. Немецких Диоскуров свергнули, а свои-то остались..., стоят у входа в Манеж, только с другой стороны Исаакия, два шага от немецкого посольства.

– Рази судьбу обманешь, – тоже вздохнул Макаров. – Пути Господни человекам неведомы. – Они помолчали. – А вот, говорят, у Царя в духовниках старец наш с Тобольской губернии, с Туры, это верно?

Мария Власьева удивленно взглянула на него.

– Это вы про Григория Распутина?

– Вроде так кличут.

– Есть такой, – подтвердила Мария Власьева.

– А это как же с точки зрения науки?

– Не знаю, – Мария Власьева задумалась, а потом усмехнулась. – Да, Макаров, фрукт вы изрядный.

Про Распутина ходят слухи, что он пьяница, развратник. А кто говорит, что Царь без него и шагу не ступит. Только слухи-то все «бумажные». Ну а вы-то сами что думаете? Он же ваш земляк, там ведь должны лучше знать?

Макаров в темноте усмехнулся:

– И я не ведаю. А вот вижу только, что пока он возле Царя был, советовал-не советовал – неведомо, а всё как-то шло. А как его ножом пырнули, пока он при смерти лежал, тут вот эта вся заварушка и началась.

Он давно уже докурил и загасил сигарку о каблук – по старой привычке. Мария Власьева сделала ещё несколько глубоких затяжек и, покатав папироску пальчиками, притушила огонёк.



– Да, не поспоришь, – согласилась она. – Не знаю – есть ли здесь связь, а факт бесспорный. Пойдёмте-ка спать, – предложила она, – вы, должно быть, тоже смертельно устали, а я к вам тут с бабскими жалобами, с эзотерикой...

\* \* \*

Через полтора месяца по другую сторону фронта в 16-м Баварском резервном полку тоже появится санитар-доброволец, уроженец городка Браунау-на-Инне в Австро-Венгрии, несостоявшийся художник Адольф Гитлер. Вскоре он станет связистом, отличится в боях и заслужит чин ефрейтора...

\* \* \*

На следующее утро Макаров и отец Маркелл ещё выскребали перловую кашу с топлёным салом из своих котелков, когда к ним подошла Мария Власьевна. Они сидели в сторонке под деревом. Мимо проходили солдаты строем и поодиночке. Скакали вестовые. Проезжали конные повозки с боеприпасами и снаряжением, поскольку реквизированные для армии грузовые автомобили ржавели в Петрограде из-за отсутствия запчастей. Проносили раненых. На рысях прошла артиллерийская батарея: три зачехлённых орудия, судя по большому диаметру и короткой длине ствола – гаубицы. Лошади на подбор все рыжие с белой мордой, белыми передними и задними бабками, сытые, лоснящиеся. Ездовые им под стать – широкие красно-коричневые лица, широкоплечие с уверенной осанкой.

После первых побед боевой дух войска пребывал на высоте. Несмотря на значительные потери солдатики выглядели молодцами – бодрые, сытые, отважные. Оставшиеся в живых офицеры, успевшие привести в порядок обмундирование с помощью денщиков, тоже – хоть на парад.

Отец Маркелл ел размеренно, не ел, а вкушал. Чинно зачерпывая из котелка, отламывая маленькие кусочки чёрного хлеба и отправляя их в рот, долго и сосредоточенно жевал. Мысленно – это было видно по его лицу, читал про себя молитвы, и осенял крестным знамением то котелок, то хлеб. Макаров, тоже не торопясь, с крестьянской степенностью потреблял харч. Мария Власьевна подошла незаметно, со спины.

– Сидите, сидите, – замахала она руками, когда Макаров и отец Маркелл, увидев её, отложили ложки.

Но они всё же отставили котелки, встали, дожёвывая на ходу, отряхнулись, отёрлись, отец Маркелл даже прошёлся рукой по бородке, Макаров пригладил усы.

– Вот что, Макаров, как вас там...?

– Роман, – отозвался Макаров.

– Вы, Роман..., как по-отчеству?

– Романыч, – совсем опешил Макаров.

– Вы, Роман Романович, пожалуйста доедайте свой завтрак, – остановила его Мария Власьевна, – выпейте чаю, а вот потом, сделайте милость, сходите с ведёрком во-о-н в то немецкое поместье, ландгут по-ихнему. Видите красные черепичные крыши, там вон на возвышенности, над лесом? Хозяева его явно оставили. Ну, а нет – не прогонят. У нас нужда простая – водовозка запаздывает. Нет воды питьевой. Колодец возле дороги как всегда засыпан хламом. Ну, солдаты ещё туда-сюда – они люди привычные, да у них своя санитарная служба, а раненым желательно чистой водички и вообще для лазарета. Там наверняка есть колодец или свой водопровод. Вы разведайте. Принесите на пробу с полведра, а потом мы нарочного снарядим с бочкой. Только всё же возьмите кого-нибудь с собой на всякий случай.

– Так кого же? – развёл руками Макаров, в самом деле немного растерявшийся от наложенной на него ответственности, от того, что сама Мария Власьевна пришла с просьбой, хотя могла послать кого помладше чином – сестру, брата, посыльного, передать приказ и всё тут. Макарову как солдату было бы достаточно. Тем более что за водой идти – не на смерть.

– Так это..., я и пойду, – встрял отец Маркелл, – ежели приказание такое будет.

– Вот и славно, – обрадовалась Мария Власьевна, – приказание даю: отправляйтесь с унтер-офицером Макаровым в разведку. Двое мужчин – это правильно. – Она повернулась, чтобы уйти.

– Мария Власьевна, – зачем-то окликнул её Макаров.

Она остановилась, оглянулась, с лёгкой добродушной улыбкой глядя на них. – А как, к примеру..., – спросил Макаров, кашлянув и переступив с ноги на ногу, – как, к примеру, по-немецки вода?

– М-м-м... Вассер! – ответила Мария Власьевна, слегка удивившись.

– А дом?

– Хаус, а вам зачем?

– А эт всегда пользительно, язык противника разбирать, эт у нас привычка...

– Вот что! – Мария Власьевна слегка плутовато прищурилась. – Ну, и как же будет «дом» по-японски?

– У японцев там дома не было, – сказал серьёзно Макаров. – А по-китайски «дом» – *зхай*

Макаров и отец Маркелл взяли по ведёрку, навесили на пояса, помимо своих, ещё по две пустые фляги и стали поспешать. Отец Маркелл выглядел забавно: в чёрной скуфейке и рясе с солдатским широким поясом, на котором теперь висели, как охотничьи трофеи, три фляги в чехлах, похожие на подбитых уток, с белой с красным крестом повязкой на рукаве и в невысоких пехотных сапогах с прямым обрезом. Когда он входил в операционную, то сверху надевал халат с завязочками на спине. А его длинные волосы, которые он забирал сзади тесёмочкой во время работы с ранеными, его клиновидная борода придавали ему в условиях фронта и вовсе диковинный вид. Макаров сбегал в палатку и возвратился, пристраивая на пояс ещё и огромный полукилограммовый тесак в стальных ножнах.

– Трофейный, – пояснил он отцу Маркеллу. – Из Маньчжурии – штык-нож от японской винтовки Арисака. Таким вот мне под Ляояном ляжку распороли, что твоей рыбе брюхо. Добрая вещь, когда винтовки нет, не зря вёз.

Не зная дороги, Макаров отметил положение солнца, и они пошли напрямик через лесок, через изрытые немецкими сапёрами опушки, по полянкам, где свежи были следы боёв, перепрыгивая через ручейки и шлёпая по болотцам. Даже после военных действий и артиллерийской обработки местный лес казался чистеньким и словно расчёсанным гребёнкой. Они быстро добрались напрямую до поместья, и только оттуда, с возвышения, стало видно дорогу, идущую в обход позиций их подразделения, но до которой от лазарета было подать рукой.

Хотя хозяева оставляли жильё в спешке, всё выглядело пристойно и аккуратно, даже мусор нигде не валялся. Только в одном месте возле забора Макаров подобрал оброненную кем-то почтовую открытку: серо-коричневый немецкий солдат в каске с маленькими рожками, в полном боевом снаряжении жалобно выглядывал из-за проволочного ограждения. Вверху и внизу открытки было написано: «Helft uns fiegen!» и «Zierhnet Briegsanleihe»<sup>23</sup>

– Аки бес – черен и рогат, – заметил отец Маркелл, глядя на открытку.

– А лицо жалостливое, – возразил Макаров, – будто милостыню просит...

– Так ить бес завсегда ласков спервоначалу или жалостив, – неожиданно твёрдо для своего благодущия заверил отец Маркелл.

---

<sup>23</sup> «Помогите нам победить!» «Подписывайтесь на военный заем» – нем

Они пошли вдоль весёленького зелёного забора из плотно пригнанных струганных досок. Такие заборы в Сибири были только у купцов, да и то, пожалуй, не столь блестящие и яркие, не столь ухоженные. Забор был явно не *наш*. Недалеко от ворот на заборе висел плакат: испуганная белокурая Гретхен с ужасом взидала на протягивающего к ней волосатые когтистые лапы бородатого, лохматого, с большими окровавленными клыками человекоподобного монстра в лохматой высокой папахе, вероятно, олицетворяющего русского. Слово «Kazak» Макаров понял без перевода.

– Ишь как они нас..., – подивился Макаров.

– Как с меня писали, – хихикнул отец Маркелл и погладил свисавшие из-под скуфы волосы.

Макаров хмыкнул.

– Не, этот какой-то неброский, на юродивого похож. У нас Кирюша городской дурачок, вроде этого – с виду страшный, а приглядишься – жалость берёт. Вы, батюшка, с вашими лохмами пострашнее будете, даже вот и без тесака.

Макаров задержался у плаката, дивясь фантазии художника. Отец Маркелл вошёл в ворота: они, как и все двери в доме, были только прикрыты, но не заперты, чтобы дикие *русские* варвары не выломали замки или, чего доброго, не разнесли ворота и двери в щепы. Отец Маркелл совсем уже скрылся из виду, когда вдруг Макаров услышал, как он негромко, но тревожно, как показалось Макарову, вскрикнул. Макаров бросился к воротам, на ходу выдёргивая из ножен штык-нож. Перед его мысленным взором всплыло почему-то строгое и укоризненное лицо Марии Власьевны. Он даже успел проклясть себя за дурацкую беспечность – как можно так передвигаться на территории противника, выпустив товарища из виду? Даже если ты идёшь за водой! Но его небоевая должность и совсем невоенный сан отца Маркелла сыграли с ним дурную шутку...

Макаров влетел в ворота, держа наготове оружие, и чуть не сшиб с ног отца Маркелла, застывшего неподвижно почти у самых ворот. Священник стоял в странной позе с протянутой рукой, словно перед ним было некое пугливое животное вроде кабарги и он пытался приманить его, чтобы погладить. На самом же деле перед ним стоял рыжеватый светлоглазый юноша, с которым, видно, и столкнулся отец Маркелл, войдя в ворота, отчего и вскрикнул, не ожидая увидеть здесь людское существо, да ещё столь незрелое. Юноша показался Макарову довольно взрослым, но, разглядев хорошенько, он понял, что перед ними совсем ребёнок лет четырнадцати, просто рослый и крепкий.

– Ишь, – ласково сказал Макарову через плечо отец Маркелл, – Мальчонок ихнай.

Увидев русского солдата с громадным ножом, мальчик, и без того напуганный, вовсе стал безжизненно бледным.

– Спужался пострелёнок, – отец Маркелл указал рукой куда-то вниз.

Макаров посмотрел через его плечо на мальчика и увидел, как у того по светлой штанине коротковатых брючек расплзается мокрое пятно, а снизу уже начинает капать. Макаров на всякий случай украдкой оглядел двор, дом, поглядел на окна. Ничего подозрительного он не обнаружил.

– Нам от водички б, – сказал, добродушно улыбаясь, отец Маркелл и похлопал рукой по ведёрку.

Мальчик продолжал смотреть на них, не мигая, казалось, он вот-вот потеряет сознание. Макаров догадался спрятать штык-нож.

– Водички, водички, – опять улыбнулся отец Маркелл, – фь, фь, – фыркнул он, поднося ведро ко рту и изобразил, что пьёт.

– Wasser? – догадался мальчик.

– Васер, васер, – обрадованно закивал отец Маркелл.

– Wasser ist.., – снова повторил мальчик, и, не зная как объяснить, указал рукой вглубь двора.

– И ладно, – сказал отец Маркелл. – А ты домой иди, понимаешь? Иди домой.

– Хаус, – вспомнил Макаров и махнул рукой в другую сторону.

– Nah haus? – опять догадался мальчик.

– На хаус, на хаус, – закивал отец Маркелл и сделал вид, что собирается идти за водой.

Мальчик попятился назад.

– Auf Wiedersehen.., – пробормотал он враз высохшими спёкшимися губами.

– Фидерзеин, фидерзеин, – повторил Макаров и снова махнул рукой в сторону.

Мальчик не стал больше испытывать судьбу и дал такого стрекача, что через секунду показалось, что его не было вовсе.

– Ишь, болезный, осикался, – покачал головой отец Маркелл. – С испугу-то...

– Нет, – вздохнул печально Макаров. – Не с испугу, это он от ненависти...

## 4

И протрубили, наконец, медные трубы над Иртышскими просторами, над берёзовыми колками-перелесками, земляничными полянками, над степными озёрами с заболоченными берегами, над поспевающими тучными ржаными да пшеничными полями, над многочисленными речушками, впадающими в Иртыш, пополняющими его силу – для тех, кто ещё не знал военной работы, кто ни разу не ходил в штыковую атаку, глядя в искажённое страхом ли, злостью ли лицо набегающего на тебя человека, который хочет зарезать тебя раньше, чем ты его, не сидел под завывающей над головой шрапнельной смертью, не видел, как режет пулемётная очередь идущих рядом с тобой людей, не падал живым мостом на проволочное заграждение, чтобы спасти от шквального огня бегущих по твоему телу товарищей-однополчан... Грянул во всю сибирскую ширь марш «Прощание славянки», заплакали матери и сёстры, провожая детей и братьев на ратную страду, зарыдали молодухи-невесты, чуя, что не всем им быть мужними жёнами, не всем суждено утешиться жаркими, страстными ночами в супружеских объятиях, не всем суждено зачать да выносить ребятишек, испытать материнскую радость и получить утешение на старости лет... Через месяц после мобилизации Макарова-старшего пришёл черёд идти на войну и для Ромы Макарова и его сверстников.

Накануне проводов вечером Устинья собирала сына в дорогу, тяжело и досадливо вздыхая, негодуя про себя, что много-то и не уложишь: «Там ить всё казённое выдадут», – думала она и разводила руками. Ну сухарей мешочек положила, хлеба каравай, чаю кирпичного плитку, полголовки сахару, добрый шмат сала да колбаски домашней, яиц варёных десятка полтора. Задумалась на минутку и уложила сверху чистое полотенце. Пока мать вздыхала над походным мешком, Рома сидел за столом, пил чай. Пил долго, неторопливо, будто желая напиться наперёд на целый год или больше. На столе стояли пирожки с зелёным луком и яйцами, с капустой, шаньги, большой румяный, истекающий соком курник. Ребятишки Тишка с Оськой уже поужинали, после чего им велено было лезть на печь спать или, по крайности, сидеть тихо и не мешаться под ногами. И они украдкой глядели оттуда на враз повзрослевшего брата, который, как и папка, отправлялся воевать с германцем.

В городе не гуляли, как в прежние годы, собирая новобранцев. Сухой ли закон тому был причиной или у всех такое сразу выработалось отношение к этой войне, а только тихо было. И от этого забирала жуть. Даже детишки малые не озорвали, не бегали и не галдели, глядя на старших, на то, как у пожилых людей увеличилось количество морщин, а у совсем ещё молодых уже кое-где они тоже обозначились, и дети начинали быстренько взрослеть и проникаться серьёзностью момента.

Послышались торопливые частые шаги, скрипнула дверь в сених. Устинья разогнула спину, удивлённо взглянула на сына, тот только успел развести руками в недоумении. Открылась дверь в горницу, вошла Алёна Истомина, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы или бега, чуть запыхалась, но тут же сделала вид, что вовсе и не спешила никуда.

– Добрый вечер, – поздоровалась она с Устиньей.

– Добрый, добрый, – отозвалась та. – Чё эт ты на ночь глядя? – и ещё раз взглянула на Рому.

– Роман Романыч, – вместо ответа обратилась Алёна, – можно вас на минутку? – она кивнула головой на дверь.

Роман кашлянул, поднялся из-за стола.

– Далёко ты его? – встревожилась Устинья.

– Да не, – уверила Алёна и даже засмеялась, – мы тут во дворе, только словечком перемолвиться.

Дом Макаровых стоял боком к реке, выходом вверх по течению. Справа от него к Иртышу спускались огород и сад – кусты смородины, малины, крыжовника и несколько яблонь. На них как раз уже поспевали небольшие яблочки, в аккурат с двугривенный. Из них на зиму Устинья делала варенье. Яблочки бросали в сироп вместе с хвостиками и варили. Удовольствие было в том, что они не разваривались, а так и оставались при хвостиках целенькие, только становились золотисто-прозрачными, так что просвечивали насквозь и видны были косточки. Из варенья яблочко доставали за хвостик и объедали – было удобно и вкусно.

Уже стемнело, однако ночь стояла тихая, лунная. Лунный свет, отражаясь в реке, освещал сумерки, и на фоне воды было хорошо видно идущую Алёну.

Она не спеша пошла по тропинке к садику, прошла мимо ягодных кустов с остатками поздних ягод и встала, прислонившись у яблони. Рома шёл за ней. Когда она остановилась и, прищурившись, поглядела вдаль, он, вопросительно посмотрев на неё брякнул:

– Ну?

Алёна бросила на него резкий колючий взгляд.

– А ты с кем общаешься, может быть, с лошастью или с девушкой? Тоже мне «ну», – передразнила она.

– Ну... ты звала..., – начал теряться Рома.

Алёна фыркнула, как кошка:

– Звала... Больно надо, сам поплёлся. Мог и не ходить...

– Чего ты сразу-то? – Рома стоял на отяжелевших ногах, словно его подковали, как битюга.

– Сразу? – вспыхнула Алёна, – А ты прощение просить думаешь, или так и пойдёшь на свою войну?

– Какая она моя..., – грустно отозвался Рома. – А так..., прости – коли чего, только я перед тобой невиновен.

Алёна резко повернулась, глаза её превратились в узенькие щёлочки.

– А к Соньке ходили с Минькой, ходили ночью, а?

– Так из-за тебя же!

Алёна задыхнулась от гнева.

– Ещё чего! Ещё чего придумает! И хватает наглости! Ну и кобели ж вы парни, ... просто коты весенние – пакостники! Которая поманит, а вам только и надо!

– Да, ей богу, из-за тебя! Ты же мне сказала, что Бога нет! Думаешь, я не догадался, откуда ты нахваталась... Ну, решил сам разобраться.

– А днём не мог сходить? – возмутилась Алёна.

– Днём-то ещё хуже, разнесут ведь...

– И так уж разнесли. У неё соседка сама вон – горазда. Да только втихаря, всё шито да крыто. Не на людях, как Сонька, зато уж о других язык почесать! Тень на плетень навести, дескать, вон оне бесстыжие, а мы не таки!

Они немного постояли молча. Алёна всё делала вид, что дует, прислонившись бочком к яблоньке, поскрёбывала пальчиком по стволу. Рома слегка тронул её за плечо.

– Алён, – она только сверкнула глазами в его сторону. – Ну, Алёна...

Алёна резко повернулась.

– А ну – на колени! Становись на колени, срамец!

Рома быстро оглянулся.

– Чего ты?

– Я сказала: на колени! – говорила она негромко, притопнув на этот раз ножкой.

Но злости в её словах уже не было, разве что уязвлённое девичье самолюбие. Рома всё понял и, скрывая улыбку, наклонив голову, опустился перед ней на колени.

– Целуй руку, ну живо...

Рома взял её протянутую к нему руку, осторожно прикоснулся губами, потом прижался к ней лицом, почувствовал, как Алёна вся словно потеплела, будто была застывшая, да вдруг резко оттаяла. И он, обхватив руками её колени, прижался к ним.

– Ну ладно, ладно, – Алёна слабо оттолкнула его, – достаточно на сегодня... Ишь разошёлся – самовар. Не заслужил пока...

Рома поднялся с колен.

– Провожать-то придёшь завтра? – спросил он тихо.

Алёна выдержала паузу, потрепала концы платка.

– Посмотрю ещё на твоё поведение... Итак теперь из-за тебя к Соньке не хожу.

Но он уже знал, что придёт. Надо было прощаться, но Рома почувствовал, что ещё рано. Он неторопливо нежно обнял Алёну и поцеловал в губы, и она отозвалась на его поцелуй. И таким сладким показался он обоим. Что там яблочки с хвостиком из варенья – ни в какое сравнение не идут...

\* \* \*

Рома проснулся на следующий день раньше обычного. Сам – никто его не будил, как прежде. Начинаящее исподволь прозревать чувство ещё неосознанной тревоги разбудило его. Вначале оно ещё не было столь сильно и ощутимо, но постепенно сознание того, что вскоре ему предстоит не только надеть военную форму, освоить службу, стать солдатом, но и столкнуться лицом к лицу с врагом, дошло до него. Ранее усвоенные в связи с этим понятия: мужество, стойкость, храбрость, героизм – приобретали теперь особый, более отчётливый, конкретный смысл. Он уже не представлял, а как бы ощущал то взрыв снаряда: дрожание земли под ногами, действие ударной волны; то, казалось ему, слышал сопение надвигающегося на него немецкого солдата: чувствовал его запах, ощущал его дыхание. От этих предчувствий у него начинало странно подводить живот, что-то там сжималось внутри, по спине пробежал холодок. «Что это, – думал Рома. – Страх? – И его охватывал ужас и стыд за себя. – Неужели я трус? – мучительно спрашивал он себя. – Неужели я хуже, чем все? Ведь вот сколько народу, моих одногодков уходят нынче со мной на войну. Или, может, у всех то же самое, тогда какие же мы солдаты? Мы простые парни, которых оторвали от дома и посылают убивать таких же... Да! Точно таких же парней... Там, у них, с их стороны идут такие же люди. Но зачем? – В конце концов он дошёл до крамольных мыслей о бессмысленности войны и понял, что окончательно распустил нюни. Тогда он возненавидел себя. – Да ты трус, трус, просто трус, Роман Романович! – почему-то назвал он себя по имени и отчеству, так, казалось ему, будет строже. – А как же отец, который уже воюет, который однажды уже был на войне и вернулся с крестом на груди и весь израненный. Он-то что же? Напрасно всё это делал? Напрасно сражался, проливал кровь?» И он начинал бодриться, говорить весело, чересчур оживлённо, чем даже насторожил мать, разговаривая с которой почти не понимал и не слышал её слов. Отвечал ей невпопад. И так чуть не дошёл до истерики. Тогда только догадался прочитать девяностый псалом, известный в народе как молитва от нападения врагов. «Живый в помощи Вышняго» – чудодейственная молитва, о силе которой он был наслышан, но как-то сам на себе до сих пор не испытывал. И вот теперь твердил её с таким жаром, с такой жгучей верой, что почти тотчас же ему стало легче, будто вдруг одолевшая его немощь неожиданно рассеялась и расступилась. Он успокоился, и, глядя на него, успокоилась Устинья, успокоились и посерьёзнили и Тишка с Оськой, которым начало передаваться слишком оживлённое настроение старшего брата, а они в отсутствие отца уже почувствовали преступную сладость свободы, за которую не последует расплаты и наказания. Отец, Роман Романович, детей не сёк – случая не представилось. Может, тогда дети и сами понимали дисциплину и имели уважение к старшим. Но отцовский широкий солдатский ремень висел в избе на видном месте, и каждый знал – для чего...

В таком вот смиренном состоянии духа Макаровы всей семьёй и вышли за ворота на улицу, и тут Роман со смущением сразу отметил, насколько все, кому предстоит сегодня уйти вместе с ним в армию, оживлены и неестественно веселы. Ему сразу всё стало ясно...

Возле ворот их ждала Алёна. Она не пошла навстречу, а подождала, пока Роман с родственниками приблизятся к ней.

– Привет, – делая вид, что случайно тут оказалась, сказала Алёна Роману, когда тот подошёл к ней и поздоровался.

Устинья, взяв за руки Тишку и Оську, намеренно приотстала, пропустив Романа с Алёной вперёд, чтобы дать им возможность поговорить. Она шла позади Ромы и Алёны, делала вид, что смотрит по сторонам, здоровается со знакомыми и родственниками дальнего родства – вроде «двоюродному забору троюродный плетень», даже что-то отвечала кому-то. На самом деле она в который раз уже примеряла Алёну себе в невестки, зорко вглядываясь в неё. И многое ей было не по душе. Устинья Ладина происхождением была из староверческого рода, одного из тех, что после восстания 1722 года, зачинщиками которого были насельники старообрядческих скитов, в 1725 году под давлением властей вынуждены были принять троеперстие и ходить в церковь. Но порядки и нравы в семье Ладиных и поныне отличались строгостью, устойчивостью традиций и нравов, много времени уделяли домашней молитве. И хотя Устинья знала, как толкуется старообрядчество православной церковью: *«Только то архиерейство и священство имеет благодать и власть апостольскую, которое без малейшего перерыва ведёт своё начало от самих апостолов. А то архиерейство, у которого в преемстве был перерыв, промежуток, как бы пустота, есть ложное, самочинное, безблагодатное. А таковое и есть лжеархиерейство у называющихся старообрядцами...»*, – такое толкование не могло не привести к признанию реформированной церкви. На деле же такая установка делила Русскую православную церковь надвое, рассекала живое тело Христово – тело Церкви, разделяло русский народ...

Однако же, выйдя замуж и поселившись в городе, Устинья не могла не заметить разницу между тем, как неизменными остаются устои и обычаи старообрядцев, как суровеют со временем их нравы в стремлении сохранить незыблемым древнее благочестие – что, по её мнению, оправдано наступлением новых времён, и тем, как всё легковеснее, а главное, бездушнее – становится отношение к вере у православных, к той вере, которую она лично приняла всем сердцем, всей душой и готова была за неё стоять насмерть. Божья благодать была с ней повсюду – и в церкви, где она чувствовала себя спокойно и безопасно, и в ту пору, когда носила своего первенца, да вдруг захворала, и чуть не потеряла ребёнка. И только беспрестанными молитвами её и соборованием были оба они спасены. И тогда, когда, узнав, что у мужа её после ранения в 1904 году началось осложнение – заражение крови, она поехала за триста вёрст просить батюшку Иоанна Кронштадтского помолиться за болящего Романа, а много позже узнала, что уже через три дня после этого почти совсем безнадёжный Роман Макаров пошёл на поправку. Да и в её спасении ещё во младенчестве, когда заболела она лёгочной горячкой и уже лежала без сознания, на последнем дыхании, вдруг на пятый день чтения канона о болящем младенце Устинье, открыла глаза и потянулась ручонкой к стоящему на столе чугунок с варёной картошкой.

И когда пришла пора ей выходить замуж, она и родители её были весьма довольны, что сватается к ней выходец из старинного казачьего рода, чей прадед с братьями тоже принимали участие в староверческом восстании. Одного из братьев тогда казнили, остальные были сечены кнутом и так же принуждением приведены в «новую» церковь.

Имея в виду всё это, можно представить состояние Устиньи – близкое к ужасу, когда взирала она на Алёнины наряды, на её крашенные брови, слышала её непривычно громкий смех, не в меру звонкий голос, заметила её привычку не краснеть в присутствии парней и не опускать глаза, не наклонять голову, когда те нахально пялятся на неё. И это притом, что Устинья ещё



не слыхала высказываний Алёны о Боге и рассуждений о жизни. Удивляли Устинью и нынешние понятия о красоте. Вот Алёна – да, девушка видная: тонкая талия, крутые бёдра, шаг лёгкий, быстрый, спина прямая, плечи развёрнутые, высокая грудь. Но двигается – то чересчур резко – нет девичьей плавности, то наоборот вразвалку – словом, мужиковатая в движениях, грубовата, не лебёдушка, не лада. Вроде как с парнями соревнуется. А в семейной жизни как? Тоже захочет вровень с мужем встать? Теперь лицо: правильный овал, губы тонкие, ротик маленький, носик аккуратный, большие серые глаза – zalюбуешься. Но вот она улыбнулась, засмеялась, и что-то звериное, хищное появилось в лице, рот слегка перекосялся, глаза, вместо того, чтобы потеплеть почернели, кольнули иголочками, загорелись огоньком – недобрым огоньком, бесовским. Ноздри расширились, брови изогнулись так..., ну бог знает как, а только неприлично, девушка добрая не может так улыбаться. И изогнулась вся, перекособочилась, бёдрами заиграла совсем неприлично...

Стала подмечать Устинья, что люди, в особенности молодёжь, красоту начали понимать как-то не так, внешнюю сторону, что ли. Всё пытаются закрыться, занавеситься кисейкой, замаскировать что-то. Наряжаются вот, ну нарядно ещё куда ни шло, а то с форсом особым, с шутством каким-то. Вот Алёна брови чернит, хочет лучше выглядеть, а лицо всё выдаёт – всё её нутро, а внутри благолепия-то, похоже, и нет. Помнила Устинья, да ещё и теперь встречала истинно красивых девушек. Посмотришь бывало – ничего особенного в девушке нет, неприметная даже. А подойдёшь, словом обмолвишься – улыбнётся она тебе, слово скажет и пойдёт, а ты смотришь вслед и любишься – красавица-лапушка. А тут сколько ни крась – срам один. Как почнёт глаголоть или смеяться, так вся красота слетает и проявляется такое, от чего избавиться просишь Господа денно и нощно. И, к ужасу своему, заметила Устинья, что эти крашенные брови нравятся Роме. Не видит он, что ли, чёрное от светлого отличить не может среди бела дня. Или слепа любовь? А любовь ли это? Как же они с мужем тогда любят друг друга без всех этих уловок? Ну, а если это не любовь, тогда что? Вот тут и был камень преткновения. Тут и видела Устинья, что наступали новые времена, и нравы наступали другие, и люди. Не по её разумению. Всё это Устинья не столько понимала, сколько чувствовала. Спроси её, чем ей Алёна не любя – не скажет, только брови нахмурит, да губы подожмёт и выдаст: – Дурная девка. – А чем дурная, чем других хуже? Тут уж она не умом, тут она чутьём свои женским руководствуется.

И только сегодня, выйдя за калитку и увидев, как Алёна подошла к Роме, Устинья, долго откладывавшая серьёзные раздумья о их судьбе на потом, вдруг осознала, что этого «потом» уже может не быть, и только неуместная в жизни война – не сулившая ничего, кроме разлуки, а может, и более тяжких испытаний, неожиданно даёт ей передышку, а её сыну и его избраннице урок терпения и испытания на верность и серьёзность намерений.

Но так выглядела Алёна в глазах Устиньи, имеющий свой опыт и свои суждения. В городе же Алёна слыла красавицей, а что до её характера – так молода ещё, поживёт своё, сто раз переменится. И то сказать: за какой бабой бес не ходит? Дьявол вначале Еву соблазнил, а уж она потом Адаму яблоко подсунула...

Провожали новобранцев торжественно, поэтому место сбора выбрали на центральном месте в нагорной части, возле торговых рядов и старой тарской крепости, у высокого белокаменного собора Святого Николая Чудотворца, построенного ещё в позапрошлом веке и имевшего два придела: Святых первоверховных апостолов Петра и Павла и во имя Священномученика Харлампия.

Там с утра стоял небольшой сборный оркестрик и чуть фальшивя, но бодро оглашал окрестности старинным маршем, на мотив которого писатель Владимир Гиляровский вскоре специально напишет слова «Марш Сибирского полка»:

Из тайги, тайги дремучей,

От Амура, от реки,  
Молчаливо, грозной тучей  
Шли на бой сибиряки.

Их сурово воспитала  
Молчаливая тайга,  
Бури грозные Байкала  
И сибирские снега...<sup>24</sup>

На площади, в присутствии городского головы, представителей Думы, урядника, одного из квартальных надзирателей, старого отставного казачьего войскового старшины<sup>25</sup> и прибывшего из Омска за новобранцами пехотного подполковника с двумя унтер-офицерами, отслужили молебен о даровании победы православному воинству. Для этого новобранцев построили в каре, а родственники обступили его полукругом, в центре которого стояли оркестрик и представители власти.

Роме на некоторое время пришлось расстаться с Алёной, с матерью и братьями. В состоянии крайнего волнения, когда происходящее воспринимается, как в тумане, он протиснулся в строй новобранцев и тут же услышал:

– Во и Макар тут! Держи, Ромаха!

Минька Крутиков сунул ему в руку полстакана самогона. Рома, не задумываясь, чуть присев, выпил, почти не почувствовав вкуса. И дальнейшее вовсе воспринимал всё, как в болезненном бреду. После молебна, слившегося в один протяжный гул, было сказано много речей, запомнить которые и разобрать дословно тоже было не под силу, но общий смысл которых сводился к призыву победить. Казачий войсковой старшина, расправив усы на «без четверти три», дребезжащим, но всё ещё звонким голосом дал наказ не посрамить былой славы воинов-сибиряков. Его речь отпечаталась в памяти почему-то отчётливее других то ли своей искренностью и безыскусностью, то ли необычностью голоса.

Затем их повели на пристань. Тут родственники снова бросились к ним, в последний раз обнять, прижаться к родной щеке. Алёна ухватила Романа за правую руку, Устинья за левую, братья Тишка с Оськой волочились где-то сзади, хватая его за полы старенького отцовского пиджака, чтобы не отстать в толпе – среди сотен топающих ног, бабьих подолов, гомонящих ребятишек, что-то кричащих друг другу людей, под взвизгивания гармошек и обрывки песен, похожих в этом гомоне на лай или звериный крик.

С ходу, дабы избежать беспорядков, начали грузиться на баржу. Рома обнял мать, потрепал чубы братьям и обернулся к Алёне.

– Ждать меня будешь? – спросил он быстро, чтобы успеть услышать ответ. И затаился весь, напрягся – так хотелось ему услышать на прощание теплые, душевные слова от той, ради которой, как ему теперь казалось, он и идёт воевать.

Мать и братья уже отступили на второй план, как само собой разумеющееся – за них он идёт сражаться, а за Алёну так готов и умереть!

Словно чувствуя его настроение, Алёна вся подалась к нему, вот-вот и из глаз её брызнут слёзы, она задыхалась от переполнявших её чувств и слов: «Буду! Буду! – хотелось крикнуть ей. – Милый, любимый, ненаглядный, сто лет ждать тебя буду, только тебя!». И она уже раскрыла рот, чтобы всё это выкрикнуть ему, уже распахнула объятия, чтобы напоследок обнять его крепче, но тут случилось вовсе неожиданное. Откуда-то из толпы чёрной птицей вылетела Сонька-солдатка, бросилась Роме на грудь и завывала в голос.

---

<sup>24</sup> Более поздний, советский, вариант – песня «По долинам и по взгорьям»

<sup>25</sup> после реформы чин казачьего войскового старшины приравнивался к армейскому подполковнику.

– Кровиночка моя, Ромочка, на кого же покидаешь меня?!

Рома ошалело взглянул на Соньку, потом на мать, как бы прося защиты, как мальчишкой в детстве, когда какой-нибудь особенно злобный гусак не хотел уступать дорогу. Но Устинья только в ужасе прикрыла платком рот. Рома, быстро глотнув воздуху, посмотрел на Алёну. Та, широко раскрыв глаза и опустив руки, стояла, как ушибленная. Она вся побледнела, глаза её страшно закатились. Показалось, что она сейчас упадёт без чувств. Рома схватил Соньку и с силой оторвал от себя. Но Алёна, сорвав с головы платок, резко развернулась и помчалась в горку по тропинке вдоль береговой кручи, спотыкаясь, подбирая подол юбки и раскачиваясь, как осинка на осеннем ветру. И волосы её растрепались, и было в этом что-то страшное, как колыхались они за её спиной – словно пламя. Рома рванулся было за ней, но крепкая рука Устиньи удержала его.

– Не надо сынок, что ты. Стыд-то какой... Иди, иди – не позорь нас с отцом. И в то же миг, почувствовав резкие боли в животе, поняла, что начались схватки.

И она сама, вот чего никак не предполагала, лёгонько подтолкнула его к сходням, разделившим их семейную жизнь на тыл и фронт...

## 5

Армия генерала Ранненкампа так и не начала наступление. Мало того, что главнокомандующий генерал Жилинский, чья ставка находилась в Белостоке, не имел точных данных разведки о состоянии войск противника, вернее, не особо заботился о их получении и точности, а руководствовался «ранее» разработанными планами и собственными представлениями, то есть домыслами, он в добавок ко всему использовал для передачи боевых приказов о выдвижении и передислокации войск обычный почтовый телеграф! Да ещё находящийся в Варшаве! Прибывший туда на телеграфную станцию с очередным донесением штабной офицер обнаружил целую кипу не отосланных телеграмм, адресованных 2-й армии. Собрав все он отправил их с посыльным на автомобиле. У корпусных штабов длины телефонных проводов хватало только до дивизионных штабов, между соседями и со штабом армии связь поддерживалась по радио. Немцы перехватывали приказы, переданные по радио, а немецкий профессор математики, служивший в штабе армии в качестве криптографа, без труда их расшифровывал. От такого простодушия даже немцы, читавшие наши донесения и стратегические секретные приказы, как газеты, были в шоке! Поскольку долго не могли поверить, что это подлинные документы, а не дезинформация. Надо заметить, что связь и разведка русской армии были так организованы, что немцы порой лучше русских знали, какие действия предстоит совершить русским войскам. В результате такого командования каждый из генералов – командующих армиями, Самсонов и Ранненкампф, имея только общий, весьма туманный план наступления, руководствовались собственными соображениями. И если армия Самсонова, действуя в соответствии со сведениями о противнике, переданными из генерального штаба от Жилинского, и приказом наступать, продолжала движение вперёд, то армия Ранненкампа, опираясь на те же данные и собственные наблюдения, дающие повод опасаться, что противник заманивает их в ловушку, наступление замедлила, затем прекратила и даже отошла...

\* \* \*

В один из дней ожидания к Макарову, занимавшемуся хозяйством, подготовкой к наступлению и приёму большого количества раненых, подошёл отец Маркелл в полном снаряжении, с мешком за плечами.

– Так что разрешите доложить, – обратился он к Макарову. Тот даже от удивления поднял брови. – Пришёл попрощаться.

– Как это? – не понял Макаров.

– Так что переводят в соседнюю армию – к генералу Самсонову. Там у них священника контузило, а им наступать надо. Вот и приказано мне.

Это уже не медицина, у нас своё начальство. А наше дело известное...

Они оба чуть помедлили, а потом шагнули навстречу друг другу и обнялись. Отец Маркелл даже отёр глаза рукавом ряски.

– Может, ещё увидимся, – успокоил его Макаров.

– Бог даст, непременно, непременно свидимся, – оживился отец Маркелл.

Он постоял ещё немного, махнул рукой и зашагал по дорожке, к начинающему движению небольшому обозу из нескольких подвод. Маленький русский попик в больших армейских сапогах, нелепо выбивающихся из-под запylённых пол рясы, в ношеной скуфейке, с торчащим сзади, схваченным тесёмкой, пучком седых волос. Глядя на него, Макаров почувствовал, что у него вдруг сжалось сердце и стало не по себе, словно он бросил Маркелла на произвол судьбы. Но он быстро взял себя в руки. На фронте давать волю чувствам нельзя, иначе такая жалость возьмёт, что и воевать не сможешь. А отец Маркелл всего лишь санитар, да теперь уж и не

санитар даже... Санитар – тот всё же под огнём ходит, хотя и не так, как солдат. Может, и встретятся ещё где. И как бы удивился Макаров такому, пусть незначительному, взаимодействию двух армий, если бы узнал, что их командующие генералы Ранненкампф и Самсонов находились в ссоре, и практически не общались друг с другом со времён боевых действий в Маньчжурии в 1904–1905 годах, когда их разногласия дошли до такой степени, что чуть не окончились дуэлью. Об этой особенности русских армий, наступающих в Восточной Пруссии, прекрасно было осведомлено даже немецкое командование. И величайшей загадкой истории остаётся то обстоятельство – кому в русском генеральном штабе пришла мысль назначить Ранненкампа и Самсонова во главе этих армий...

Немцы не собирались сдавать Восточную Пруссию с родовыми гнездами юнкеров и с древним оплотом Тевтонского ордена городом-крепостью Кёнигсбергом, начиная с XIII века – плацдармом для «Drang nach Osten», где с 1701 года короновались прусские короли, объединившие Германию. Речь шла не просто об исторически памятной части Германии, а о том месте, где располагались имения основной части офицерского корпуса, где жили семьи значительной части офицеров, где доживали свои дни ветераны прежних войн.

Генерал Мольтке сместил с должности главнокомандующего войсками в Восточной Пруссии, впавшего в панику генерала Притвица, и назначил на его место отставного генерала Пауля фон Бенкендорфа унд Гинденбурга, а начальником штаба к нему определил генерал-майора Людендорфа. С прибытием Гинденбурга и Людендорфа в штаб Восточного фронта началась «научная» война германского командования против храброго и умелого, но лишённого стратегически прозорливого руководства и организации русского воинства...

Вместо развития операции и завершения разгрома немецких войск, почти в три раза меньших по численности, чем русских, генералом Ренненкампом был дан приказ об отводе русских частей. В этих условиях немцы изменили свои планы и атаковали 2-ю армию генерала Самсонова.

Пять корпусов Самсонова шли без отдыха девять дней по песчаным дорогам в удушающую жару, без организованного питания и воды. Жилинский требовал максимального продвижения вперед, не видя, что он загоняет элитные части в западню. Голодные, уставшие воины шли, почти не встречая противника, не понимая оперативного смысла продвижения, не видя стратегической цели, не пользуясь для передвижения превосходными германскими железными дорогами.

А пока Самсонов спешил, Ренненкампф выжидал, не желая отрываться от баз с боеприпасами и продовольствием. Имея пять кавалерийских дивизий, он сумел «потерять» немецкую армию, позволяя немцам совершить классический маневр – оторваться от одной армии, чтобы окружить вторую. Отсутствие у русских войск телеграфа и любой сигнальной связи, немислимое прямотушие открытых сообщений радио о том, что собирается и чего не собирается делать Ренненкампф, обрекли храбрую русскую армию...

\* \* \*

Солдаты из армии Самсонова вповалку лежали у небольшого костерка, переводя дух после дневного марша и хлебая из котелков похлёбку без хлеба – хлеб для личного состава армии, как и зерно для лошадей, закончились. Подошёл штабс-капитан Дашкевич. Солдаты нехотя попытались встать.

– Не вставать, отдыхать, – остановил их Дашкевич. – Я вот что, – он покусал ус, – где наш поп, этот, как его, Маркелл?

– Да тама вон, ваше благородие, – отозвался из полумрака один из солдат. – Тама – вон, видите, огонёк теплится. От то он молитву творит...

Дашкевич пошёл на еле видимый огонёк и наткнулся на стоящего на коленях отца Маркелла. Тот, затеплив каким-то чудом раздобытый огарок свечи и пристроив его на дереве, молился. Под сапогами штабс-капитана хрустнули ветки. Отец Маркелл оглянулся.

– Что ты, миленький, – обратился он к капитану, – не спится тебе? Чай, который день без отдыха...

– Да вот, – капитан смущенно кашлянул, – вроде уже и ног не чувствую, чуть хожу, устал как пёс... А лягу, и всякая мерзость в башку лезет. Я, конечно, во все эти предчувствия не верю. Не первый день воюю, плевать я хотел на всю эту хиромантию. Только что-то беспокойно на душе. Идём, идём... Куда идём? Немец, как лиса, то поманит хвостом, то спрячется. Вот и лезет в голову не пойми что. Ударь нам теперь во фланг... – Он ещё раз кашлянул. – Это я зря к вам, вы-то при чём... Нервы, – он слегка поклонился. – Прошу простить за неуместный разговор, честь имею.

– Пойдите, – остановил его отец Маркелл. – То, что не верите во всякое наваждение это добре. Нечего русскому солдату суеверным бабьим страхам поддаваться, – он внимательно посмотрел на штабс-капитана. – На исповеди давно были?

– Давненько-с, – ответил смущённо Дашкевич, переминаясь с ноги на ногу.

– Поди сюда, сынок, – позвал его ласково, но твёрдо отец Маркелл. – Становись-ко рядом. Я тебя исповедую.

Становись, становись, ничего от чистосердечного покаяния твоя офицерская честь не пострадает, только чище станет. А солдатушки впотьмах не увидят, так что достоинство своё не уронишь.

Дашкевич скептически ухмыльнулся, однако к Маркеллу подошёл, на колени встал. И как только тот накрыл его епитрахилью и прочитал: – Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое, не усрамися, ниже убойся, и да не скроеши что от мене; но не обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да приимеши оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Се и икона Его пред нами; аз же точию свидетель есмь, да свидетельствую пред Ним вся, елика речеши мне; аще ли что скроеши от мене, сугуб грех имаше. Внемли убо; понеже бо пришел еси во врачебницу, да не неисцелен отъидеши, – тут штабс-капитана прорвало, словно гнойник нарывававший лопнул. Он говорил долго и горячо, вспомнив даже то, что уже считал окончательно забытым: как трое суток играл в преферанс, как ударил по лицу, а потом чуть не пристрелил на дуэли поручика Шаробурского за то, что тот пересказывал сплетни о царской семье, вычитанные в какой-то грязной газетёнке. Как два дня был в запое, узнав, что Россия объявила войну Германии, и как пьяный чуть не пристрелил назойливую проститутку, тащившуюся за ним по пятам два квартала, когда он вышел освежиться. О том, как осуждал начальство, как смеялся над полковым священником и ещё многое другое...

– Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо Александр, вся согрешения твоя, и аз, недостойный иерей, властью Его мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь, – прочитал над штабс-капитаном отец Маркелл. – Целуй крест и Евангелие... – Дашкевич поцеловал крест, Евангелие и припал губами к руке священника. Отец Маркелл почувствовал, что лицо его мокро от слёз. – Ступай с Богом, всё будет у тебя хорошо... завтра.

Дашкевич быстро поднялся и ушёл в темноту, на ходу вынимая платок и отирая лицо, не заметив, как следом за ним к отцу Маркеллу потянулись от костра солдаты...

К середине следующего дня, когда после продолжительного и изнуряющего марша в районе Танненберга – в тех местах, где пятьсот лет назад Тевтонский орден был сокрушён войсками Королевства Польского и Великого княжества Литовского, совсем ополоумевшие солдаты армии Самсонова вышли большой колонной из лесу на открытую местность, без предварительной разведки, без всякого прикрытия и попали под шквальный пулемётный и артиллерийский огонь. С правого фланга – откуда ждали появление армии Ранненкампа, тоже

появился неприятель. Те, которые не были убиты в первые минуты боя, находясь на линии огня противника, цепляли к штыкам белые платки и сдавались в плен, совершенно не находя никакой возможности и сил к сопротивлению. В том состоянии, в каком они находились после столь длительного и изнурительного похода, смерть воспринималась как избавление. И если кто-то до сих пор оставался жив, то – как досадное недоразумение – следовала сдача в плен.

Штабс-капитан Дашкевич, шедший далеко от головной части колонны, успел собрать вокруг знаменосца своего полка около двух рот. Тут же оказался и отец Маркелл. Совершенно небезосновательно предполагая, что противник окружил армию, Дашкевич, в числе других командиров, повёл свой отряд на прорыв. Через несколько километров марша по непролазным, поросшим кустарником болотистым лесным зарослям впереди вдруг раздались выстрелы и громкий гортанный крик:

– Русс, сдавайс! Ви ест окрющён! – возникло короткое замешательство.

– А ... не хочешь! – зло выкрикнул в ответ штабс-капитан Дашкевич и тут же схватился за левое плечо. Под его рукой на рукаве мундира расплылось красное пятно. Он устало опустился на траву и стал доставать портсигар. Солдаты недоуменно уставились на него, ожидая команды. И тут к знаменосцу подскочил отец Маркелл.

– Ребятюшки! – крикнул он, – таким сильным и звонким голосом, что солдаты, стоявшие вокруг, откликнулись на его призыв, как на команду офицера. – Супостат преградил нам дорогу, а мы его в штыки! Пошли, ребята, с Богом, урр-а-а! И он, подняв высоко руку с крестом, пошёл вместе со знаменосцем вперёд. Когда Дашкевич нагнал их, отец Маркелл ему крикнул: – Ты, сынок, позади шагай, смотри, чтобы кто не отстал, подгоняй их...

Дашкевич шёл сзади, размахивая и угрожая револьвером, подгоняя солдат, отстреливаясь и совершенно не думая ни о смертельной опасности, ни о том, где теперь может быть противник. Пуля, угодившая ему в руку, только задела мышцу, и теперь кровь свернулась и присохла на ране, пропитав мундир и образовав корку. Он расстрелял все патроны в выбегавших и стреляющих из кустов немцев, сунул револьвер в кобуру и, достав из кармана девятимиллиметровый браунинг, палил из него, пока не выпустил две последние обоймы. Штабс-капитан вынул из ножен шашку (тогда ещё офицеры носили длинные неуклюжие шашки как знак офицерского отличия), и, когда на него наскочил немецкий гауптман, он мгновенно, двумя страшными ударами, изрубил его, забрызгав кровью мундир и щёку, вначале отрубив кисть, сжимавшую пистолет, который почему-то не выстрелил: то ли дал осечку, то ли закончились патроны; а вторым ударом наискось разрубив ключицу. Бежавшие за гауптманом два немецких солдата, взглянув в лицо Дашкевича, бросились назад, один – выронив винтовку, а второй – обернувшись и выстрелив не целясь, послал пулю в верхушки деревьев.

Так они прошли километров десять, то и дело увязая в болотах, иной раз проваливаясь по пояс и помогая друг другу выбраться на твёрдую землю, обходя небольшие озера и перебираясь вброд по воде, пока шум погони и стрельба не остались в стороне. В болотистом лесу немецкие солдаты, егеря, шуцманы и добровольцы из местного населения с охотничьими ружьями продолжали гоняться за русскими солдатами и добивать их, как зайцев. И, видимо, противник не рассчитывал, что кто-то из русских сумеет вырваться из «мешка».

Дашкевич собрал вымокших до нитки, оборванных людей возле знаменосца, здорового парня из Уфы, который дошёл невредимым, и помимо знамени, ещё нёс какой-то груз на левом плече. Оказалось, что потерь почти нет, есть лишь раненые, но способные самостоятельно передвигаться. Не веря такому счастью, Дашкевич почти весело, чтоб взбодрить свою команду, спросил:

– А где поп наш, отец Маркелл, он же впереди шагал?

– Здесь он, – сильным басом ответил знаменосец, – вот он. – И он осторожно снял с плеча безжизненное тело отца Маркелла, которое он с лёгкостью, почти не устав, протащил

на плече. – Пулей.., – сказал знаменосец, – прямо в сердце. – Он стянул фуражку. – Почти вышли уже...

Дашкевич тоже обнажил голову.

– Нести с собой, будем хоронить со всеми почестями, как героя, – приказал он.

Избиение армии Самсонова продолжалось три дня, после этого началась массовая сдача в плен русских солдат – измученных, голодных, лишённых сил и средств к сопротивлению...

Неудовлетворительное руководство Северо-Западным фронтом под командованием генерала Жилинского, несогласованность действий 1-й и 2-й армий привели к гибели 30 тысяч и пленению более 100 тысяч солдат и отходу русских частей в Восточной Пруссии. Погиб и генерал Самсонов – есть свидетельства, что он покончил с собой, застрелившись в лесу.

Эти события принято признавать разгромом армии Самсонова, а Восточно-Прусскую операцию поражением русских войск. Для оправдания гибели десятков тысяч русских солдат и нескольких тысяч офицеров в качестве веского довода приводят то, что они пожертвовали свои жизни для спасения Франции. Действительно, немцы вынуждены были перебросить из Франции на русский фронт 2 армейских корпуса и 1 кавалерийскую дивизию, что обеспечило победу французов в битве на Марне и спасло Париж от сдачи немцам.

Находившаяся всего в пятидесяти верстах от того места, где разносили 2-ю армию генерала Самсонова, 1-я армия генерала Ранненкамппа выполнила наконец-то запоздалый приказ наступать, но была остановлена тяжёлой немецкой артиллерией. После упорных боёв, понеся огромные потери, – тоже была вынуждена отступить.

В целом, русские потеряли в этой операции четверть миллиона человек, массу техники – орудий и броневиков, боеприпасов и снаряжения; 10 генералов были убиты, 13 взяты в плен.

Однако вскоре получившие пополнение 2-я и 1-я армии<sup>26</sup> заняли прочную оборону, и обе стороны перешли к позиционной войне, быстро усвоив особенности современной войны – гораздо безопаснее отсиживаться под огнём артиллерии в окопах, чем непрерывно атакуя, терять личный состав. Организовать наступление на этом участке фронта немцам было не под силу<sup>27</sup>

Операция в Восточной Пруссии помешала 8-й немецкой армии нанести удар с севера по Варшавскому выступу. Благодаря этому на юге русские войска смогли очистить от австрийцев Галицию, хотя понесли при этом большие потери.

Серьёзные последствия Восточно-Прусской операции скажутся чуть позже. По свидетельству генерала Брусилова, к началу зимы обученная в мирное время армия исчезла. Да, первым шагом к потере элитного, хорошо обученного состава русской армии явились как раз события в Восточной Пруссии, причиной которых было не столько неподготовленность русских армий, сколько халатное отношение командного состава, большей частью штабного, к своим обязанностям. Именно с того момента в русской армии началась острая хроническая нехватка не только хорошо обученных солдат, но, что особо страшно – опытного и грамотного офицерского состава.

Массовая гибель боевого офицерства привела к тому, что среди прибывавших на фронт молодых необстрелянных офицеров стали развиваться фатально-декадентские настроения и вырабатываться убийственные в условиях фронта «аристократически-артистические» манеры, скажем, идти в атаку на пулемёты впереди атакующих солдат, в полный рост с хлыстиком или стеком для верховой езды... Бесшабашность стала удалью. В результате уже в 1915 году в младшие офицеры стали производить имевших боевой опыт и отличившихся из нижних чинов, что, несомненно, привело к декации командного состава и, в целом, к падению армейской дисциплины. А это повлияло не только на характер, но и на продолжитель-

---

<sup>26</sup> 1-я армия была полностью укомплектована и с новым командующим продолжила боевые действия.

<sup>27</sup> Сильно потрепан 1-ю армию, немцы не разгромили русские войска, и даже не освободили собственную территорию.



ность войны. Изменился, первоначальный идейный замысел. Вызванное войной отношение к людям как к расходному материалу повысило всеобщую степень цинизма. В самом характере войны стали проявляться черты не священной битвы, а смертельной игры, трюка, театрализованности, бравады и фиглярства. Привычные, настраивающие на суровый лад слова: *поле брани, поле битвы, фронт, сражение* были заменены выражениями вроде: «театр военных действий». Вместо *поражение, победа* или рождённых Петровской эпохой *конфузия, виктория*, стали говорить: «выиграть войну», «проиграть войну». Уместно ли при «игре» в войну говорить о святости и патриотизме, о славянской идеи? Уместно ли назвать такую войну Отечественной? Вопросы суть риторические. Похоже, для русского командования слова: «За веру, Царя и отечество» – были лишь лозунгом или боевым кличем. А война рассматривалась как сугубо геополитическое предприятие, результатом которого могли быть, например, аннексированные территории. Но кто же собирался присоединять Берлин к России? Бывали русские войска уже и в Берлине, и в Париже, однако и Франция и Германия от этого никуда не делись, а стало быть – за что же тут воевать?

После смены руководства 1-й армии и отстранения генерала Ранненкампфа, в связи с острой нехваткой опытных боевых кадров, младший унтер-офицер Макаров был возведён в чин старшего унтер-офицера и переведён в сапёры, а ещё через две недели перешёл в «охотники». «Охотников» набирали из добровольцев. Они занимались разведкой, проводили диверсии, делали быстрые короткие нападения на отдельных участках фронта. Утаскивали из-под носа у противника зазевавшихся солдат и офицеров, совершали ночные налёты, позже вели партизанскую войну. Словом, не давали немцам «спокойно» воевать. Такая служба больше подходила Макарову, который не любил однообразия.

## 6

По прибытии в Омск, новобранцев поместили в «карантин» – держали за забором, никуда не выпускали и с утра до вечера обучали строевому шагу – поодиночке и в строю, ходить в атаку, колоть штыком набитые соломой чучела. Всё это было как во сне, и в памяти Ромы запомнилось как один день, где он рано просыпается и куда-то бежит, чеканит по брусчатке плаца шаг – раз-два, раз-два, колет набитый соломой мешок, снова куда-то бежит, в промежутках между этим проглатывает какую-то еду и, наконец, вымотавшись и устав до невозможности, падает на дощатые, покрытые тюфяками с сеном нары и засыпает. Все события последнего дня в Таре, выбившие его из колеи, отошли на задний план, стали просто фактом, казались из другой – не его жизни. Но в целом всё это ухудшало настроение и добавило лишних тягот к военной службе.

Через две недели их стали грузить в эшелоны и увозить на запад. Через неделю эшелон, в котором находился Рома, прибыл в Брест-Литовск. Здесь, наконец-то, их переодели в военную форму, и ещё через неделю они приняли присягу. Принятие присяги запечатлелось в Роминой памяти особенно отчётливо, в силу ли особой торжественности или потому, что он уже стал привыкать к специфике военного быта.

В день присяги, как по заказу, светило солнце, было уже прохладно, но сухо и безветренно. Их вывели на плац, на краю которого стояло несколько одинаковых столиков, покрытых белыми скатертями. Перед столиками, на некотором расстоянии, стоял знаменщик полка, старший унтер-офицер со знаменем и ассистентом. Постепенно, после нескольких перестроений, с другой стороны каждого столика квадратами выстроились новобранцы.

Перед каждым столиком появились священнослужители разных христианских конфессий и религий. Полковой священник Павел Кедрин с крестом и Евангелием встал перед первым столиком, перед которым стоял самый большой «квадрат». Перед вторым столиком остановился католический ксёндз, перед третьим – лютеранский пастор, перед четвёртым – мусульманский мулла, перед пятым – еврейский раввин, а перед шестым, около которого стояли только два новобранца, не было никого.

Начался чин присяги, и к столику православных новобранцев знаменщик поднёс знамя. В то же самое время к последнему столику – где не было священнослужителя, подошёл командир полка. Оба новобранца вынули из карманов маленькие свёрточки и, тщательно развернув тряпочки, вынули из свёртков двух маленьких деревянных «божков», выструганных из дерева и смазанных салом. Оба деревянных «божка-идола» были поставлены на столик между командиром полка и двумя новобранцами, и только тогда он, как высший в их глазах начальник, привёл обоих к присяге служить «верой и правдой» Царю и Отечеству.

Рома, будучи грамотным, текст присяги прочитал заранее и знал наизусть:

*«Обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен Его Императорскому Величеству Самодержцу Всероссийскому и Его Императорского Величества Всероссийского Престола Наследнику верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови и все к Высокому Его Императорского Величества Самодержавству силе и власти принадлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по крайнему разумению, силе и возможности исполнять.*

*Его Императорского Величества государства и земель Его врагов телом и кровью, в поле и крепостях, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление и во всем стараться споспешествовать, что к Его Императорского Величества службе и пользе государственной во всяких случаях касаться может.*

*Об ущербе же Его Императорского Величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведая, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допускать потишуся и всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным надо мною начальником во всем, что к пользе и службе государства касаться будет, надлежащим образом чинить послушание и все по совести своей исправлять и для своей корысти, свойства и дружбы и вражды против службы и присяги не поступать, от команды и знамени, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду и во всем так себя вести и поступать как честному, верному, послушному, храброму и расторопному солдату<sup>28</sup>, надлежит. В чем да поможет мне Господь Бог Всемогущий.*

*В заключение сей клятвы целую слова и крест Спасителя моего. Аминь*

После окончания чина присяги священнослужители удалились, новобранцы возвратились к своим ротам.

В Российской императорской армии не допускалось сколько-либо заметных религиозных конфликтов. Такова была официальная установка священноначалия. Чуть позже, в циркуляре 3 ноября 1914 года, протопресвитер Георгий Шавельский обратится к православным военным священникам с призывом *«избегать по возможности всяких религиозных споров и обличений иных вероисповеданий»*

Отныне рядового Романа Макарова определили служить в артиллерию, заряжающим 122 мм гаубицы, по иронии судьбы созданной в конструкторском бюро Круппа к 1909 году и изготовленной на Путиловском заводе в Петрограде. Орудие стреляло шрапнелью более, чем на семь километров и способно было нанести значительный урон живой силе противника, находящейся за укрытием, или остановить идущих в атаку солдат неприятеля.

И началась выматывающая учёба: установка орудия на позицию для стрельбы, снятие орудия, приведение в походное положение, перевозка, снова установка. Полевые учебные стрельбы и, помимо этого, работа на строительстве укреплений Брест-Литовской крепости. Их участком руководил блестящий офицер и умелый инженер, всегда подтянутый, чисто выбритый, стремительный, принимающий решения на ходу, капитан Карбышев, игнорирующий положенный ему личный экипаж и раскатывающий по объектам на велосипеде. Его можно было видеть везде и всюду в любое время суток, всё так же подтянутого и бодрого, что даже было непонятно, когда же он спит и отдыхает ли вообще. Они рыли рвы, насыпали валы, возили землю в тачках. Нередко разгружали вагоны с колючей проволокой, а затем проводили её испытания: на разрыв, на количество сгибов, до микронов измеряли толщину, высчитывали вес одной сажени.

Молодой, ещё не нюхавший порошу поручик, руководивший солдатами, томился от такой занудной, бестолковой, на его взгляд, работы. Он маялся, корчил гримасы, много курил, криво усмехаясь. И в один из дней, не выдержав, высказал свою точку зрения:

– Эта канцелярщина нас погубит! Кому-то, для какого-то отчёта нужны все эти данные, а мы, как болваны, вместо того, чтобы воевать, занимаемся здесь крючкотворством!

– Напрасно вы так, поручик, – раздался вдруг голос.

Все обернулись и увидели, незаметно подошедшего капитана Карбышева. Поручик смутился. Карбышев положил ему руку на плечо и спокойно, не торопясь пояснил: – Я понимаю, поручик, ваш боевой пыл. Но вы знаете, к примеру, что в одной сажени колючей проволоки весу пять десятых фунта? На каждой катушке намотано по двести пятьдесят сажень. Итого вес одной катушки колючей проволоки равен трём пудам. Так вот, когда вам придётся воевать и носиться вместе с солдатами, таская трёхпудовые мотки, укрепляя свои позиции, возможно, под вражеским огнём, или уничтожать укрепления противника, тогда вы вспомните

<sup>28</sup> Или офицеру

нашу «канцелярщину» с благодарностью. – Он обратился к солдатам: – Вы, насколько я понял, сибиряки?

– Так точно, вашбродь, из Омска.

– Вот как? – улыбнулся он. – Так и я в Омске родился и кадетский корпус окончил. Поверьте земляку на слово – очень важно то, что мы сейчас делаем...

Предвидения капитана Карбышева оказались пророческими. В годы этой войны российская армия израсходовала до 800 тысяч тонн колючей проволоки для устройства различных укреплений и полевых препятствий!

Талант Дмитрия Михайловича Карбышева – военного строителя, инженера-фортификатора ярко проявился при организации работ на строительстве укреплений Брестской крепости, грамотном использовании личного опыта, полученного в Русско-японской войне, и в дальнейшем ходе войны, в его участии в боевых действиях в Карпатах и знаменитом Брусиловском прорыве.

\* \* \*

Подходили к концу последние месяцы 1914 года. Завершение его можно было считать вполне успешным для русской армии. С 5 августа по 8 сентября 1914 года произошла Галицийская битва. Не дожидаясь полного сосредоточения и развертывания своих частей, русские намеревались атаковать австро-венгерские войска в Галиции, нанести им поражение и воспрепятствовать их отходу на юг за Днестр и на запад к Кракову.

В боевые действия были втянуты огромные силы сторон. Противник активно применял разведывательную авиацию, огромные бипланы «Альбатрос», которые периодически сбрасывали бомбы или осыпали «дротиками» (большими стальными гвоздями) колонны пехоты и кавалерии. В нашей армии командование ещё относилось к авиации с недоверием. А ежедневные полёты австрийского аэроплана над городом не только раздражали, но и рассекречивали передвижение войск. Это было новое, ещё непривычное оружие, внушавшее ужас и сеявшее панику ввиду своей внезапности и неуязвимости.

В этот раз он появился утром около 11 часов. Австриец описал круг над городом на высоте около километра и стал делать второй. В городе поднялась беспорядочная винтовочная трескотня. Австриец же, сделав круг, шёл над городом прямо на запад, слегка набирая высоту. Очевидно, он увидел всё, что ему было нужно. В это время с южной стороны появился небольшой аэропланчик, быстро поднимаясь, он шёл наперерез противнику, заметно догоняя его. Он быстро приблизился, и на крыльях стали различимы кружки российского триколора. Это был русский «Моран» – аэроплан намного меньше австрийского, к тому же относился он, скорее, к классу разведывательных и не имел серьёзного стрелкового вооружения. Было ясно, что скорость «Морана» намного выше скорости «Альбатроса» австрийца. Но что мог он сделать в такой ситуации? Однако солдаты и офицеры с земли смотрели на него с надеждой, как на небесное явление, ожидая неизвестно чего. Вот они уже на одной высоте. Русский аэроплан уже выше противника и делает над ним круг. Австриец заметил появление врага, и его аэроплан начал снижаться на полном газу. Но уйти от быстроходного «Морана» было нельзя. Он зашел сзади, догнал врага, сверкнув на солнце серебристыми крыльями. И вдруг русский аэроплан завис над австрийской машиной и словно сокол, «клюнув» носом, упал на врага. После удара «Моран» на мгновение как бы остановился в воздухе, а потом начал падать носом вниз, медленно кружась вокруг продольной оси.

– Планирует! – крикнул кто-то.

Но для опытных пилотов, смотрящих на происходящее с земли, было ясно, что аэроплан не управляется, и это падение смертельно. Австриец же после удара какой-то момент еще держался в воздухе и летел прямо, словно бы ничего не произошло. Но вот громоздкий «Альба-

трос» медленно повалился на левый бок, потом повернулся носом вниз и стал стремительно падать. Он быстро обогнал «Моран» и упал на землю первым. Парашюты тогда ещё не применялись. Никакого шанса спастись лётчикам не оставалось...

Стоявшая на площади толпа, тихо и напряженно следившая за воздушным боем, вдруг задвигалась и закричала. Из окна второго этажа за

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.